

Евгений Русских
Триумф красных бабочек

повести и рассказы



Евгений Русских
Триумф красных бабочек

«Издательские решения»

2015

Русских Е.

Триумф красных бабочек / Е. Русских — «Издательские решения», 2015

В книгу Евгения Русских «Триумф красных бабочек» вошли рассказы и повести из его книг «Дом в готическом стиле», «Девять миль вверх». Жизненная подлинность, художественная достоверность привлекли внимание читателей к его творчеству. О чем бы ни писал Е. Русских — о любви, о «маленьком человеке», мужественно встречающем удары судьбы, о молодых людях и стариках — его рассказы наталкивают на серьезные размышления о нашей жизни, раскрывают добро, часто незаметное, но так необходимое нам.

© Русских Е., 2015

© Издательские решения, 2015

Содержание

Вместо предисловия	6
Триумф красных бабочек	7
Хипыч	15
Крест	18
Ответа нет	24
На берегу	28
Убить Крысу	35
Дом в готическом стиле	42
Приезд на родину	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Триумф красных бабочек
повести и рассказы
Евгений Русских

© Евгений Русских, 2015

© Евгений Иванович Русских, фотографии, 2015

Редактор Ирина Николаевна Русских

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Вместо предисловия

Однажды у Галины Щербаковой я прочел: «Он отрастил себе такое чувство долга, что его уже носить трудно». Это было давно, тогда я еще запоминал умные писательские фразы, чтобы потом вставить их в нужное время в нужное место. Меня поразила тогда точность этого «отрастил». И я был уверен, что не пройдет и пары месяцев, как я смогу к месту процитировать эту фразу в одном из своих журналистских материалов.

С той поры прошло тридцать лет. А фраза, занозой сидевшая в голове, все никак не ложилась на бумагу. Ибо не встречалось мне таких людей. Не то, чтобы всё пустышки и бабочки-однодневки, много было видано людей презанятных, но все – хорошо, да не то.

Впервые читая рассказы Евгения Русских – было это четыре года назад, – я не мог избавиться от ощущения, что мне это было нужно уже давно – прочесть его прозу. Так собственный жизненный опыт компенсирует пробелы в образовании, а чужой литературный – недостаток нравственной энергетике. Я должен был определить для себя, теперь уже издателя, чем меня «цепляют» новеллы писателя из Литвы; тогда память любезно вернула мне фразу о долге, и она наконец-то «легла» – точно, легко, стопроцентно, словно написана была для характеристики героев мира Евгения Русских.

Ловлю себя на том, что его люди-гиперболы и гипертрофированные книжные чувства не вызывают моего внутреннего сопротивления, я вспоминаю шукшинских чудиков; я слышу в плаче «по-русских» платоновские печальные песни. Где-то там надо искать этимологию этой дивной упертости, запредельной моральной стойкости его персонажей.

Творчество Евгения Русских мне напоминает работу ледокола, очищающего от торосов фарватер для прохода сухогрузов. Такая спокойная каждодневная работа, только ощущение от нее, словно автор принял на себя схиму во имя какой-то известной лишь ему одному миссии. Этакий вариант «рубить на звезду» по терминологии Андрона Кончаловского. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно...

Оказалось, да, нужно. Писатель известен и востребован, и не только женской читательской аудиторией, которая особо тонко чувствует фальшь во всем, в литературе, в частности в романтической литературе, особенно (еще со времен Александра Грина, с которым порой ассоциируют Евгения Русских, а то, что он – писатель-романтик и мог бы записать Грина в свои учителя, это совершенно точно), наверное, еще и потому, что восполняет своими текстами недобор чистого пафоса, который требуется каждому нормальному человеку и которого в естественной жизни практически не осталось. Тем, что дается нам в детстве, мы потом пользуемся всю оставшуюся жизнь, а недостаток компенсируем, уходя в музыку или религию, в сентиментальность или жестокость – кому как повезет. А Евгений Русских отсыпает нам не порционно, по чайной ложечке, а щедро, полной мерой. Добро и зло, любовь и ненависть, черное и белое, жизнь и смерть. И то, что зачастую без полутонов, тоже понятно: как известно, «закуска градус крадет».

Градус его произведений действительно высок, и это я считаю главным их достоинством. В одном из интервью Евгений сказал: «Меня занимают и заставляют страдать лишь две проблемы: жизнь и смерть». При этом самым удивительным образом все его герои не умирают, хотя тексты автора и не лишены физиологии, а словно исходят в мир иной.

И есть в этих исходах что-то библейское, метафорическое, очищающее.

Леонид Кузнецов, главный редактор издательства «Дикси Пресс»

Триумф красных бабочек

1

– Индеец идет! – кричит Сявка, целясь в меня из поджига.

– Не стрелять! Краснокожий мой, – цедит сквозь зубы блатарь Камиль, подражая бандитам из популярного сериала о Зорком Соколе.

Лица дворовой шпаны маячат прямо перед моими глазами.

Почему они смотрят на меня с таким нескрываемым любопытством?

– Сами вы ирокезы! – пускаю сквозь зубы длинный плевок в сторону и с напускным равнодушием ухожу со двора, чувствуя, как взгляды пацанов прожигают мне спину.

Подъезд. Перепрыгивая ступеньки, мчусь по лестнице, на площадке третьего этажа срываю с шеи ключ на веревке, открываю дверь нашей квартиры. В раме зеркала на меня изумленно смотрит урод в красной полумаске. Что это? В ванной я долго тру лицо водой из-под крана. Но краснота на лице вспухает еще больше. С ужасом я прозреваю в ней бабочку. Сидя на краю ванны, я крепко жмурюсь, чтобы удержать слезы.

– Это аллергия, успокаивает меня мама. – Просто аллергия, завтра это пройдет...

И я засыпаю с мыслью: скорей бы «завтра»! Едва продрал глаза, бросаюсь к зеркалу. Проклятая тварь сидит на прежнем месте, распластав по лицу свои багровые крылья! На ватных ногах я возвращаюсь в постель. Зловещее предчувствие омрачает мою душу. Я чувствую себя больным, вялым. Будто бабочка, вцепившись в мое лицо когтитыми, как у стрекозы коготками, пьет мою кровь, высасывая силы.

Делать нечего, пошли с мамой в поликлинику.

В кабинет, где меня осматривала врач, набились девушки в белых халатах. Они смотрели на меня с жалостью и сочувствием. Застенчивый до дикости, я не знал, куда деть свои длинные, как плети, руки. От жгучего стыда лицо мое пылало, и бабочка буквально сжигала кожу.

– Только вчера я вам рассказывала о красной волчанке, – говорит врачаха. – И вот полюбуйте, типичная сыпь, в виде бабочки...

Красная волчанка? Что-то чудовищное по своей безумной и неудобоваримой силе слышится мне в этих, леденящих кровь, словах. «Вот бедняга!» – читаю я в глазах студенток. И мне хочется сделаться маленьким и невидимым, забиться в нору, где меня никто не найдет.

– ... конечно, необходимо обследование, – доносится до меня голос врачахи.

И я вижу белое лицо мамы, она кивает головой.

– Меня положат в больницу? – выпаливаю я звенящим от волнения голосом, когда мы, наконец, выходим на улицу.

– Будет видно, сынок...

Но мама врать не умеет. И мир меркнет. Все вокруг мельчает, все становится чужим, незнакомым. Светит солнце, едут машины, спешат куда-то люди, но все это воспринимается уже без всякого отношения ко мне. В больнице я точно умру от тоски! Я вдруг замечаю, что на нас оглядываются. «Лицо!» – закрываюсь я рукой. И мне делается так тяжело и грустно, что я готов заплакать.

А как весело, интересно начинались летние каникулы! Как вольно жилось мне! Когда я отправлялся на остров. Рыба, запеченная на костре. Мое особое, гордое и храброе одиночество Робинзона. Неужели все для меня потеряно?!

– ... Ваня, слышишь? Давай зайдем в книжный магазин и купим картину, ну ту, с кораблем? – предлагает мама.

Так спрашивают у приговоренного его последнее желание. И я отказываюсь от картины с погибающим в штормовом море парусником, которая мне очень нравится, но зачем мне она

теперь? И неожиданно для себя прошу маму купить мне складной нож с рукояткой в виде бегущей лисицы. Такой нож – мечта каждого пацана. Он заключает в себе всеобъемлющее понятие богатства, удали, мужества. Но стоит он червонец – целое состояние. И я, конечно, понимаю, что, пользуясь случаем, мерзко играю на материнских чувствах.

Не раздумывая, мама покупает мне «лисичку».

– Спасибо, мама! – радостно говорю я, сжимая в кармане нож, мгновенно вселивший в меня надежду: – Когда я вырасту, я верну тебе деньги...

Мама бросает на меня удивленные и нежные взгляды, не зная, что моя веселость – это веселость отчаяния. Но мысль о победе – промелькнувшая в тот момент, как я заполучил нож, – полностью завладевает мной.

Убежать я решил на остров Глухой. Время от времени туда мы наведывались с пацанами, отправляясь в путешествие по проторенным, только нам известным тропинкам. Там, на острове, где Зеленая Река одиноко впадает в рукав Иртыша, глубоко врезавшийся в берег, мы строили на деревьях, высоко над рекой, шалаши, прыгали в воду. Я знал там каждый овраг, каждый ручей в густых ивовых зарослях. Да нет, больше того – каждую кочку на болоте. «Благо, до зимы еще далеко, еще успею построить хижину, крепкую, как корабль...», – думал я ночью, ворочаясь возле мирно спящего брата Саши.

На следующее утро бабочка на моем лице алела еще страшней. От завтрака я отказался. Когда я вышел из кухни, то услышал, как мама сказала:

– Завтра пойдем в больницу. Куда тянуть?..

И голос ее прервался...

Я замер. Мои уши превратились в локаторы.

Но отчим, еще вчера так горячо защищавший меня, теперь помалкивал. Мое сердце застучало о ребра, как у пойманного в силки зайчонка.

2

В рюкзак я положил: кое-что из продуктов, котелок, спички, рыболовные снасти, ножовку, длинные гвозди и молоток. Проснулся Саша. Я сказал ему, что собираюсь на рыбалку. И вскоре катил на велосипеде по набережной Иртыша, согнувшись под тяжестью рюкзака.

Одолев мост, я съехал с откоса на остров Пионерский. Весной я спрятал в зарослях черемухи несколько досок, чтобы построить на дереве хижину. Но целы ли они? Я волновался. Но, слава богу, доски оказались целехоньки. Я взял только три доски, так как и без того был нагружен, как верблюд. И крепко привязал их к раме велосипеда.

Несмотря на утро, было жарко. Я быстро разделся догола, ухватился за толстую веревку, свисавшую с дерева, и, оттолкнувшись от земли ногами, качнулся далеко вперед. Земля ушла у меня из-под ног, и я, вдохнув речной воздух, закричал от восторга, и ветер подхватил мои тревоги и страхи и унес прочь. Я рухнул в холодную воду, тотчас вынырнул и поплыл к берегу. Натянул на мокрое тело джинсы, футболку и вернулся на трассу.

На Водопадах я передохнул, любуясь на протоку. Быстрая, как горная река, она с грохотом вырывалась из семи пролетов каменного акведука и, бурля, неслась дальше, обтекая валуны и небольшие островки, поросшие кустарником. Я проследил ее изгибы взглядом и уловил блеск воды на солнце.

Но в путь! Я кручу педали еще минут двадцать. Съезжаю с откоса и качу вдоль старицы. Трава здесь изрядно вытоптана рыбаками. Но потом дорога свернула в поле, и меня подхватила тропа. Я то выплывал на возвышенности, поросшие кустами, то съезжал в ложбины. Головки выгоревших на солнце цветов и трава били по спицам колес, и они звенели, точно эоловы арфы. Вспугнутые пчелы, недовольно жужжа, срывались с цветов и, повисев перед моим полыхаю-

щим лицом, испуганно отлетали в сторону. Ветерок приятно охлаждал мою взмокшую футболку с надписью The Beatles на груди.

Я гнал велик все дальше и дальше. Заросли становились гуще, я крутил педали по Качающейся Дороге, которая скоро ушла в Болото Змеиное (такое я дал ему название, хотя змей я там никогда не видел). После сухоты в нос резко било множество одуряющих запахов. Особенно остро пахла осока. Я снял кеды, закатал до колен джинсы и, взвалив на спину велик, осторожно погрузил ноги в холодную трясику. Под тяжестью груза я согнулся, чуть ли не до самой воды, подернутой ряской. И на меня тотчас напали комары, а я не мог бить их, садящихся на мое лицо и руки, только гримасничал и спешил перейти болото.

– Уф! – упал я на твердую землю, сбросив с себя груз.

Все мышцы у меня болели, и было жарко. Луг волновался, словно море, а к горизонту плыла Березовая Роща, точно белокрылый корабль. Я поднялся. Рюкзак показался мне очень тяжелым. Катя велосипед, я направился к роще, миновал Забытую Могилу – заросший бурьяном холмик под корявой яблоней. Неподалеку зияла яма обвалившейся землянки. Из провала за мной наблюдали березки и видно думали: «Вот урод!». Над рощей в небе кружил орел. «Здесь жил Робинзон», – подумал я, и мне стало грустно.

Я сел на велосипед и покатил на луг, заросший высокой травой и кустами. За лугом открылась Зеленая Река. Я слез с велосипеда и пошел лугом вдоль реки. Речушка была неширокая, с песчаными отмелями, валунами и заводью в том месте, где река огибала Лесистый Мыс.

Я вошел в лес. Ветки высоких деревьев местами переплетались вверху, отбрасывая наземь тень. Под ногами шуршал ковер из прошлогодних листьев. Возле вывороченного пня, похожего на огромного краба, лежала бутылка, покрытая пылью. До моего места у залива было рукой подать.

Спустившись по лесистому склону, я вышел к заливу и увидел Иву.

Ива полоскала свои зеленые косы в чистой и глубокой воде. На ее листьях и ветвях играли водяные блики. Я положил на землю велосипед, сбросил рюкзак. Таким первозданным, зеленым, до краев полным одиночества, я не видел это место еще никогда. Было тихо. Только ветер шелестел вверху обрывками полиэтилена – мой старый шалаш почти не был виден в листве.

Я напился воды прямо из реки, ополоснул горевшее лицо и стал устраивать себе новое жилище. Я залез на дерево и оторвал от ветвей старые доски моей хибарки, построенной год назад. Достал из рюкзака жестяную банку с гвоздями и крепко – одна к другой – прибил новые доски к толстым ветвям. Можно было сидеть, свесив ноги.



Я сидел на дереве, точно фавн, и чувствовал себя счастливым. Я и весь этот день – как только выбрался из города – не чувствовал себя несчастным. Но утром – и доски, и переход, – все это было впереди. А теперь это уже позади. И я нашел самое лучшее место для жизни в лесу!

Я нарезал травы и застелил доски. Натянул над головой обрывки старого полиэтилена и сложил под временным тентом кое-какие вещи из рюкзака. Теперь можно было поесть. Сжевав бутерброд, я залез на дерево. Под пленкой, сквозь которую проникал свет, было таинственно и уютно. Щемило сердце. «Буду ловить рыбу, собирать грибы, ягоды...», – думал я. Потом мои мысли завертелись вокруг постройки хижины. Предстояло соорудить пол. И стены – из жердей... Мало-помалу, убаюкиваемый шелестом листьев, я задремал. И вдруг полетел куда-то в непостижимое, в бездонное, в пустоту, крепко сжимая в руке «лисичку», как заклятье от смерти...

Летел я стремительно, как птица, над гладью реки, внизу пролетали зеленые острова, луга, озера, в которых отражались облака и солнце, мой летящий взгляд был направлен так, что в нем отсутствовал горизонт; мир был замкнут, без края, где не было ничего, кроме света, такого яркого, что слепило глаза, и чем ближе я к нему подлетал, тем он становился ярче, но вдруг что-то полное, темное ощутил я, и мой бездумно-радостный полет оборвался...

По листве Ивы сильно ударял ветер. На душе было тревожно. Спустившись с дерева, я осмотрелся. Солнце клонилось к западу. Оно косо освещало луг, белые стволы берез, где была могила. Я решил не думать о могиле. Но чем больше старался не думать, тем больше думал. А чем дольше думал, тем становилось мне страшнее. Казалось, кто-то пристально смотрит на меня из зарослей. Не оглядываясь, чтобы не увидеть два огненных глаза, я надел рюкзак, сел на велосипед и покатил прочь из этого, зачарованного, как мне показалось, места.

До города я добрался совершенно обессиленный. Лицо мое, опаленное солнцем, искусанное комарами, было страшно. Это вызвало переполох. Я проклинал себя за то, что сдрейфил, и не остался в лесу.

На другой день, утром, меня разбудила мама.

– Собирайся, Ваня.

– В больницу?

– Нет. Тебя посмотрит профессор.

Чем хуже, тем лучше, сказал себе я.

Профессор оказался маленьким, похожим на подростка, у которого в одночасье поседел волосы, и постарело лицо. У него были глубокие, горькие складки в углах рта и очень добрые глаза за толстыми стеклами очков. Осматривал он меня недолго. Пару раз черкнул молоточком по моей груди, им же легонько стукнул по моей коленке, и моя нога предательски подпрыгнула.

– Можешь одеваться, – сказал профессор.

Я надел рубашку. Профессор быстро выписывал рецепт за рецептом, что-то бормоча себе под нос.

– Вздор, – пробурчал он, по-детски обиженно сложив губы, когда мама деликатно напонила ему о моем диагнозе. И назвал слово, имеющее длинное научное название, которое в переводе на простой язык означало, что моя кожа весьма чувствительна к солнцу. Короче говоря, моя кожа не защищала от солнца, и солнце сжигало ее. У мамы засияли глаза. Она готова была расцеловать профессора, перечеркнувшего красную волчанку крестом.

– А бабочка? – спросил я, чувствуя себя легко и свободно.

– Бабочка? – встрепенулся профессор. – Ах да, бабочка... А знаешь, точно такая же бабочка с красными крылышками, как у тебя, есть и в природе. Она не то, чтобы редкая, но незаурядная. Говорят, она надолго пропадает перед различными бедствиями. Потом появляется опять, ненадолго. И мне никак не удается изловить ее для коллекции. Наверно, я стар для нее. Так что, будь смелым, юноша. И ничего не бойся. Эта красавица не любит слабонервных. Ей подавай героев, м-да...

Мы ничего не поняли с мамой из этой абракадабры профессора, но после его слов мне хотелось петь и плясать. А мама почему-то не разделяла моего восторга, думая о чем-то своем. Мало-помалу и я стал растрчивать радость из своей груди: что она опять задумала? Мы зашли в магазин, где по совету профессора мама купила мне кепку с длинным, как у американской бейсболки, козырьком.

– Теперь мне любое солнце нипочем, – осторожно забросил я удочку, надев кепку. – Можно и на рыбалку ходить. Правда, мама?

– Здравствуйте!

Мама остановилась, глядя на меня испуганными глазами.

– Нет, нет, и еще раз нет. Ты что, не слышал, что сказал профессор?

– Он сказал, что такие бабочки, как у меня, необыкновенно расположены к счастью! – выпалил я.

Но мама не улыбнулась.

– Между прочим, обследование он не отменял, – сказала она.

– Лгуныя! – кричу я. – Все наоборот. Это не профессор, а ты хочешь упечь меня в больницу!

– Псих ненормальный! – кричит мама. – Ты посмотри на свое лицо! О боже, за что мне такое наказание? – вот-вот заплачет она.

– Прости, мама...

– Нужно потерпеть, сыночек, – успокоившись, говорит мама. – Тебе нельзя на солнце. Понимаешь? Совсем нельзя. Так мне профессор сказал, когда ты вышел...

– А в пасмурные дни?

– В пасмурные? Да, наверно, можно...

Как назло, лето стояло знойное, засушливое. В горле першило от дыма горевших торфяников. К вечеру солнце светило красно, все в мареве над дымным горизонтом лесистого левобережья. Глядя в окно, я молил у бога дождя, чтобы выбраться на остров. Но напрасно возносил я небу молитвы! Засуха стояла небывалая. Мой велосипед пылился в подвале, закрытый на замок. Бабочка продолжала цвести на моем лице, высасывая мои душевные силы.

Летели дни. Клены в нашем дворе пожелтели преждевременно и сыпали листвой. И меня хватала тоска, когда я видел, что пролетает лето, а я так и не построил хижину в лесу. Тревога и страх не покидали меня. И моя Ива над рекой с чистой и прозрачной водой уже казалась мне сном, чудесным, прохладным сном, в котором я вновь и вновь плыл в небе серебристым орлом, вдруг почуявшим свою гибель...

Мало-помалу мой мир сузился до квадратуры нашей хрущевки. Часами сидя на подоконнике, я смотрел во двор. Там, как оазис среди бурой растрескавшейся земли, зеленела, мигала желтыми и красными пятнами клумба. Сверху она была похожа на ухоженную могилу. Вокруг нее и вертелась жизнь двора. Клумбу без конца поливала дворничиха, о ней говорили и бдительно охраняли от детей и собак. Созерцая жизнь двора, я был поражен: как скучно живут люди! Утром на работу, вечером с работы. По выходным – игра в «козла» в беседке. В лучшем случае – пьяная драка, в худшем – вопли жен, зовущих своих мужей по домам. «Никогда не стану таким!» – утешался я.

Не знаю, что вдруг нашло на меня, но однажды меня обуяла мания живописи. Наверное, я хотел выразить с помощью красок что-то мучившее меня и таким образом найти освобождение.

Акварельные краски и альбом купил мне брат Саша.

Начал я с Ивы. Зеленое раскидистое дерево над водой, где спряталось мое жилище. Потом я стал рисовать птиц и зверей, которых я встречал на острове. Помню, я нарисовал зайчонка, прижавшегося к земле, на которого упала тень орла. Саша заметил, что у моего зайца человеческие глаза. Мне стало жалко зайчишку, и неподалеку от него я нарисовал куст боярышника, мятущийся на ветру. Под кустом была нора: если зверек преодолеет страх, то спасется. А однажды ночью к Иве приполз волк. С кровавой раной в груди. И я выходил его. Волк стал моим преданным другом. Вот он сидит лунной ночью под Ивой и, подняв свою большую умную голову, смотрит на луну, тоскуя обо мне, а на его морду в свете луны падают листья...

Я продолжал малевать. А дождей все не было. И, пожелтев, Ива облетела, обнажив мою хижину, похожую на большой черный скворечник для бесперого человека не умеющего летать. Потом осенние бури разрушили и мой скворечник. Осталось лишь голое дерево со свисающей к воде толстой веревкой с петлей на конце.

Эта картина почему-то напугала маму. Но это были цветочки по сравнению с тем «шедевром», который я создал, заболев по-настоящему.

Однажды под вечер, красное солнце уже висело над горизонтом, у меня разболелась голова. Родители ушли в кино, Саша – в библиотеку, и я был дома один. Прячась за занавеской, я смотрел в открытое окно на двор, где слонялись пацаны. И было мне грустно, как никогда. Нет, мне не хотелось на улицу. Я был даже рад своему заточению. Потому что не хотел, чтобы меня, такого уroda, увидела Лена Веселовская, светловолосая, стройная девочка из соседнего подъезда, в которую я влюбился. Но в этот вечер меня одолела какая-то особая грусть, и я не находил себе места.

Вдруг один из мальчишек, Сявка, поднял голову и увидел меня! «Эй, поца, марите вон обезьяна!» – завопил он, втянув соплю. Я закрылся рукой и сполз по стене на пол. Сидел на полу, уткнув лицо в колени, и чувствовал, как во мне поднимается, перехватывает горло горький ком слез. Трудно передать словами мое состояние, я ведь не писатель. Но мне вдруг стало

всех жалко. Маму, брата Сашу... Я вспомнил мою бабушку. Как, бывало, она рассказывала мне о своей молодости, о госпитале, где она, юная девушка, работала медсестрой, попав на фронт в восемнадцать лет, а я не слушал ее, а потом, когда она умерла, мне стала ее не хватать, ведь только она одна понимала меня до конца и очень любила. Вспомнилось, сколько раз я грубил матери, с постоянной враждебностью относился к отчиму, но при этом без зазрения совести ел его хлеб. Я даже брата обижал, моего дорогого брата Сашу. А между тем, он не раз брал мою вину – за тот или иной проступок – на себя. Выходило, я всем мешал...

– Бежать! – заметался я по квартире в поисках рюкзака.

Не найдя рюкзак, я махнул рукой и зашнуровал кеды. Взглянул за ручку двери: дверь была заперта...

– Ключ! – закричал я в пустоту, прокляв себя, что не побеспокоился о ключе.

В ярости я ударил в дверь ногой и взвыл от боли. «Простыни!» – лихорадочно соображал я. И стал связывать простыни, чтобы спуститься по ним с балкона, как по канату!». Но глянув в окно, отпрянул: дворничиха, поливавшая клумбу, тотчас подняла голову.

– Обложили! Кругом обложили...

Внезапно я странно обессилел. Не смог снять даже кеды и как бы рухнул на постель. Некоторое время я лежал как в обмороке. А, может, я и был в обмороке. К горлу подкатывала мучительная тошнота. Было ясно: бабочка выпила все мои силы и я умираю. Вот, оказывается, как бывает...

– Мама, – позвал я в тоске.

Но не было никого, кто бы мог мне помочь. Я умирал, серо, тошно, и рядом никого не было. Вдруг я вспомнил, что не совершил ни одного героического поступка. Кто же поплачет на моей могилке?

Сотрясаясь от озноба, я отвернулся к стене. Перед глазами нескончаемой лентой проплывали подвиги, совершаемые киногероями. На месте героев я стал представлять себя. Я поднимался из окопа и, прижав к груди связку гранат, шел навстречу грохочущему танку с крестом на башне; падал на амбразуру дота, закрыв грудью пулемет, косивший солдат; направлял объятый пламенем самолет на вражеский эшелон с боевой техникой... Потом я увидел себя Оводом, о котором мне читала бабушка. Я стою у тюремной стены в ожидании расстрела. Раздается залп, и меня отбрасывает к стене, но с расцветшими на белой рубахе алыми розами я поднимаюсь, и залп звучит снова. Неимоверными усилиями я поднимаюсь опять. И молодой офицер, бледный как полотно, уже не в состоянии командовать «пли» в третий раз. Тогда собрав все силы, я сам отдаю команду... За что же я погибал? Конечно, за счастье людей...

Голова моя пылала. Огонь, охвативший сердце, требовал выхода, сжигал изнутри. Я поднялся и, преодолев головокружение, положил на пол чистый лист ватмана, прижал его углы книгами...

Казалось, я не ползал по полу с кисточками в руках, а парил над картиной. В левом углу, на первом плане, я нарисовал мальчишку, похожего на Маленького принца, каким его рисовал Сент-Экзюпери для своей сказки, но с бейсболкой на голове, надетой козырьком назад. Он стоит на полуразрушенной церкви, выше всех крыш города, и сачком отражает атаку красных бабочек, плотной стаей летящих с неба. В городе паника. Взрослые запирают двери домов, и дети, закрывая руками свои лица, бегут по улице вверх, к храму. Вот девочка с большими от ужаса глазами, в лицо которой уже вцепилась бабочка... Вдруг самая большая тварь размером с детскую ладонь и с головой летучей мыши хоботом пронзает мою грудь. Истекая кровью, я продолжаю махать сачком, как мечом. Ведь кто-то должен защищать город от крылатых вампиров, летящих с неба как красные снежины...

Так меня и нашли на полу возле моего творения. Саша потом рассказывал: с ног до головы я был испачкан красной краской, и видок был у меня еще тот. Я рвался из дома. Меня не пускали. Я плакал, вырывался. Кричал, что меня ждет в лесу волк, и если я не приду, он

умрет. Вызвали «скорую». Когда я увидел людей в белых халатах, то совсем обезумел, меня начал душить новый кошмар: меня избивают тюремщики, а вокруг дико орут арестанты. Но бабочка выпустила жало, оно впилося в мое тело, и моя душа, объятая ужасом, вылетела вон...

В больнице я пролежал три недели. У меня была гнойная ангина (видно, просквозило на подоконнике). Из больницы я вышел с чистым лицом. Профессор, навещавший меня, оказался большим любителем не только бабочек, но и живописи. Посмотрев мои картины, он сказал, что у меня дар, который нельзя зарывать в землю. Родители определили меня в художественную школу. Но проучился я в ней недолго. Потому что в один прекрасный день заметил, что рождавшиеся из-под моего карандаша неправильные линии – полная ерунда. И я бросил «художку».

С тех пор поселилась во мне необъяснимая печаль, сродни жажде. Иной раз она гвоздем колола сердце. Однажды мама заметила, что я хватаю ртом воздух. «У него в сердце шумы», – говорили врачи, слушавшие меня. Но я-то знал, что это никакие не шумы, а бабочка, которая, слетев с моего лица, поселилась в моем сердце. И там, в его тесном коконе, горюя по свободе, временами то складывала, то расправляла свои кровавые крылышки.

Хипыч

Братья Сапрыкины, бритоголовые, приземистые, в черных майках, топтались у магазина, шныряя взглядами по прохожим. Им нужен был третий, чтобы купить в складчину бутылку водки.

– Погодь, это ж кто там пылит? Никак Хипыч? – сказал один из них, младший.

Долговязый, с длинными седеющими волосами до плеч, к магазину действительно шел Хипыч.

– Как всегда один, – процедил старший из братьев, взгляд его стал злобным.

В райцентре Хипыч появился весной. Говорят – приплыл по реке в безвесельной лодке. Вернее, лодку прибило к берегу, а в ней – залетный. Поселился Хипыч в развалюхе покойной Кручинихи. И зажил незаметной, обособленной от мира жизнью. Мясо не ест, покупает только хлеб да молоко. И все чего-то пишет по ночам в сторожке, что на «объекте», где братья Сапрыкины, выпущенные из лагеря на «химию», добывали себе хлеб насущный. Кто он, залетный? Ясно одно – странный, не такой, как все. Это раздражало братьев. К тому же залетный явно игнорировал их, зазнавался.

– «Теперь не уйдет!» – одинаково подумали они, поджидая Хипыча на крыльце магазина.

Застигнутый врасплох, Хипыч попробовал отказаться от выпивки, но братья, настаивая, цепко взяли его под руки и увлекли в магазин.

– Это все, что имею, – сдался Хипыч в магазине, отдавая старшему Сапрыкину деньги. – А теперь я, пожалуй, пойду...

– Так нельзя, – мягко, но с явной угрозой в голосах, возразили братья.

На улице Хипыч попытался вырваться из их рук быстрым движением, как бы желая взлететь. Его отпустили, но вручили ему бутылку водки: теперь не улетит!

Раздавить белоголовую Сапрыкины решили в парке. Там в зарослях сирени было местечко, прозванное бухариками «трезвяк». По дороге Хипыч взмолился:

– Оставьте меня в покое!

– А вот уж хрен! – подтолкнул его в спину старший Сапрыкин. – Хочешь гордым свалить? Сегодня не получится. Сегодня наш день. Ты лучше колись, что это за круг у тебя на прикиде?

– Инь и Янь, – пробормотал Хипыч – на нем была китайская куртка с вышитым даосским знаком.

– Яна? – обернулся идущий впереди Хипыча младший Сапрыкин: – Ну-ка валяй про Яну! Что за герла? Почему не знаем? – и братья загоготали.

А Хипыч, как мог, боролся с тоской. Поглядывал в небо, которое уже переливалось розовыми и лиловыми тонами.

Как, должно быть, хорошо сейчас за городом среди деревьев, трав и камней! Было там озерцо с прозрачной водой, в которое днем смотрелись облака, а ночью – звезды. Хипыч любил приходить к этому озерцу. Он знал, что долго не протянет: застарелые болезни пожирали его тело, и оно таяло, как свечка. Но там, в поле у озера, лежа в травах, он чувствовал, что все в нем идет как бы само собою: как водопад, как свет солнца. И приходило ощущение, что он уже сам трава, и нет ни бед, ни радостей, ни эпохи, ни Добра и Зла. Но вдруг появлялся полевой мышонок и, не боясь Хипыча, ел с его ладони хлебные крошки вперемешку с табаком...

А было время, когда Хипыч наивно верил, что Зло можно отделить от Добра и победить. «Ведь все, что тебе нужно, – это любовь!» – пел он под гитару на улицах. Песни длинноволосого уличного музыканта с иконописным лицом не нравились милиционерам. И однажды, когда Хипыч пел песню Джона Леннона: «Дайте миру шанс!» – его арестовали и бросили в КПЗ. Все было...

А в девяностых Хипыч понял, что понапрасну разбазарил себя, борясь за химеру. Система рухнула, но мир не стал лучше. Все так же большинство людей цеплялось за деньги, вторая масса – за власть, третья масса жаждала отдать себя власти. Никто не хотел жить в себе, быть свободным! Хипыч почувствовал себя в пустыне. И стал искать забвения в наркотиках. Но первой от сверхдозы героина умерла его любимая жена Люси, уйдя навсегда в небо с алмазами...

Отрезвев от горя, Хипыч сам вытащил себя из трущоб, где медленно вымирали последние романтики, братья во Роке. Но дом... Дома у Хипыча не было. Спас Тибет, куда он добрался по торговым китайским путям с помощью старых друзей, знавших тамошних проводников. Там, в одном из монастырей, он научился уходить в небесный дым без зелья. По-новому осознал старую фразу: «Царство божие внутри нас». Но затосковал по России. Его дом был здесь...

– Слышь, дай-ка сюда пузырь, а то уронишь ненароком...

Невидящими глазами Хипыч посмотрел на Сапрыкиных: куда и зачем его ведут эти двое?..

– Бутылку, гад!

«Не мешать естественному ходу вещей...», – вдруг вспомнил он, но на этот раз совет даоссов не сработал, и пальцы Хипыча, сжимавшие горлышко бутылки, медленно разжались...

И Хипыч – о, чудо! – вновь ощутил себя свободным.

Он уходил по дороге в сторону заката, поглядывая на старые тополя, трепещущие на ветру молодой листвой, когда его нагнали озверевшие братья.

Били Хипыча в кустах цветущей сирени. Сперва братья работали кулаками, а когда Хипыч упал на усеянную пробками черную землю, в ход пошли каблуки... «Туфли оботри...» – последнее, что услышал он, уносимый ветром в пространство...

Похоронили Хипыча добрые люди. Крест на его могилу сделал я. Сосновый, добротный. Лежит Хипыч на краю кладбища, у самой дороги. За дорогой – поля, бесконечные нивы. Хорошо. Привольно.



Крест

1

Архипов закончил работу и вынес из сарая новый крест, сделанный из двух хорошо обструганных планок.

– Далеко собрался? – крикнул ему из-за ограды Ромас.

Его черный «Mercedes» стоял во дворе, вымощенном камнями.

– На гору Крестов, – сказал Архипов. Лицо его было опухшим, правый глаз заплыл.

– Счастливчик! – позавидовал сосед. – Если встретишь там бога, попроси его, чтобы он снизил инфляцию.

– Мои молитвы там не услышат, – сказал Архипов, прикрепляя крест к раме велосипеда.

– Тогда зачем крест?

– Друг умер.

– Все мы там будем... – быстро перекрестился сосед. – А ты кто по вере? – спросил он, садясь в автомобиль. – Православный или католик?

– Буддист, – почему-то ответил Архипов. Хотя не был ни тем, ни другим, ни третьим.

Сосед отбыл в офис. Архипов присел на завалинку. Закурил.

Вставало солнце. По-весеннему щебетали в деревьях птахи. Деревянный дом его покойных родителей покосился вбок, требовал ремонта. «Бог с ним, с ремонтом», – потер Архипов ладонью небритый подбородок. Денег все равно не было. Плохо было другое: он сам.

Вспомнилось, как он раздражался, злился, бесновался зимой, когда пилораму, где он трудился десять лет, закрыли за долги. И он остался без работы. Пил, когда умер Андрей. Короче, был дураком, а дураков он и сам не любил. Вот и вчера у него не было ни малейшего желания связываться с тем бритоголовым в баре у Гоши, но тот сам напросился.

Хулиганов было трое. Но тон задавал старший среди них, красномордый, с бугристой обритой головой и кабаньими глазками. Гоша предупредил: «Не реагируй на их выпады». Архипов взял свой бокал с пивом и направился к столику. Красномордый проводил его злобным взглядом. И выругался на русском: хотел, мол, послушать живую музыку, а попал на шоу уродов, безруких и безногих. Его «шестерки» загоготали.

Гоша покачал головой. На афганской войне он был поваром. Варил кашу, когда духи накрыли минометным огнем палаточный городок. Ему оторвало голень. Архипову повезло больше, чем Гоше и тем салажатам, погибшим в палатках. Пуля раздробила ему левое плечо. Его прооперировали. Но плечо осталось замороженным. Так что на пилораме Архипов работал в основном правой рукой. И так натрудил ее, что стала она сильной, как шатун. В этом он не раз убеждался, когда ему приходилось драться с разной сволочью.

Но вчера драться он не хотел. Он вообще не хотел больше драться никогда. Но красномордый не унимался и стал поносить Джона Леннона, портрет которого Гоша повесил в своем заведении вместе с плакатом «War Is Over», то есть «Конец войне». Архипов, любивший Леннона, сдержанно попросил его не шуметь. Но тот не понял. И продолжал изрыгать ругательства. На скулах Архипова вздулись желваки. Боясь своего гнева, он поднялся из-за стола...

Схватка была короткой. Красномордый хуком сбил Архипова с ног. И он больше не сдерживал себя. Вскочив, дал правой жожаку в живот. Тот обхватил Архипова. Архипов его оттолкнул, и дал ему еще раз снизу в его челюсть. Жожаку взмахнул руками и грохнулся на пол... Архипов крутнулся к тем, двоим. Сопляки отскочили, выжидающе смотрели – то на Архипова, то на упавшего...

– Вон отсюда! – подбежал к ним Гоша.

Подхватив своего жожака под руки, хулиганы с руганью и угрозами выкатились из заведения.

– Преподавал урок, – говорил Гоша Архипову, закрыв бар. – Теперь они здесь не появятся.

Но Архипов знал, что после таких «уроков» кабаны становятся еще наглее. И они есть всюду, в каждой стране. Но что хуже всего, их поголовье увеличивается. Вот в чем беда.

Гоша слушал и только вздыхал.

Архипов пришел в свой пустой дом. Правая рука опухла и болела. На сердце скребли кошки. Он лег на кровать, но заснуть не мог.

Валя, его жена, ушла от него зимой. Она его, дурака, жалела, когда он запил, похоронив Андрея. А он не понимал этого. Орал: «Если я – идиот, тогда где же он, твой умный-то?». Первый муж Вали был кандидатом наук. Писал диссертацию. Валя работала одна, содержала его. А когда он диссертацию защитил, то бросил ее и женился на студентке. «Не далеко же я ушел от тех, с кем дрался!» – свеживал себя Архипов. Вспомнилось, как Андрей, не терпевший зло в любом проявлении, назвал его хамом. Когда случайно стал свидетелем его ссоры с Валентиной. Архипов не знал, куда деться от стыда. Жить захребетником было невмоготу. Но работы не было. И он, как тот пьяница из сказки «Маленький принц», пил, потому что его мучила совесть, а совесть его мучила потому, что он пил. Эту сказку дал ему почитать Андрей. Невысокий, худощавый, он казался Архипову моложе своих двадцати восьми лет. Он где-то что-то преподавал. Бегал с гитарой по частным урокам. Изредка выступал у Гоши – с маленькой сцены пел под гитару свои песни. Там они и познакомились. И душевно говорили о многом.

И как-то так само собой получилось, что Архипову эти разговоры с Андреем стали необходимы, как воздух – в том водовороте, где он барахтался, потеряв свое место в мире. Андрей говорил ему о чем-то важном, чему и слов-то не подберешь. Но без этого «что-то» все казалось бессмыслицей. Ну, отломал день на работе, ну, нажрался мяса, а дальше-то – что? И болит душа. Не зная, «что дальше». Андрей знал.

Однажды он рассказал Архипову, что поливает речной водой не прижившиеся деревца, которые посадили на Крестовой горе монахи-францисканцы. Архипов уже где-то слышал (а, может, видел в кино), как один священник поливал высохшее дерево: на протяжении многих лет, каждый день, он приносил на вершину горы полные ведра воды, и дерево зацвело. Но Архипову и в голову бы не пришло – поливать сухое дерево в реальной жизни. А его друг поливал. Обыватели над ним посмеивались. Та же разведенка Маша Бойченко, шустрая кареглазая украинка, подруга Вали, крутила возле виска пальцем: «Вон твой дружок опять покати́л на гору сухую палку поливать, лучше б делом каким занялся!»

– Дурочка! – сердился Архипов. – Он палку-то эту и за тебя, бескрылую, поливает.

– Да ну? – хлопала Машка насандаленными ресницами. – Прямо за меня? Ну, тогда передай своему другу, чтоб шибче поливал. Глядишь, женилка-то и вырастет...

И показав Архипову остренький язычок, пела:

Жабанята квацают:

Боже крилець не дав...

Андрей посмеялся от души, когда Архипов спел ему эту «писню». Он хотел, чтобы и Архипов там побывал, на Крестовой горе. Архипов пообещал ему, что побывает. Да так и не собрался. И долг саднил, как незаживающая рана. И была уже глубокая ночь, когда он, совершенно измученный, поднялся с кровати. Набростил на плечи бушлат и пошел в сараюшку. Там у него был верстак. Набор плотницких инструментов.

До горы Крестов было одиннадцать километров. Об этом сообщал придорожный щит возле костела Петра и Павла. И Архипов что есть сил, погнал велосипед по велодорожке прочь от города, и ветер бил ему в лицо запахами талой земли, вышибал из глаз слезы.

Слева, по рижской трассе, сновали туда-сюда машины; справа – чернели поля. За полями синел лес. То и дело небо распарывали натовские истребители, базирующиеся на Шяуляйском аэродроме, заглушали своим ревом пение жаворонка, который, казалось, сопровождал Архипова, будто душа Андрея...

Андрей говорил, что Крестовая гора – это храм под открытым небом, созданный матерью-природой. Что место это было выбрано не случайно. «Там, как в отчем доме, отдыхает душа, и нутром чувствуешь присутствие Бога...», – слышался Архипову его голос.

В тот день Андрей до нитки промок под дождем. Кашлял нехорошо, сухо. И Архипова так и подмывало спросить, зачем он гробит свое здоровье, мотаясь на гору так часто.

– Я сам еще не разобрался до конца – зачем я это делаю, – сказал Андрей, будто прочитав его немой вопрос. – Но кто-то мне подсказывает, что это единственно важное. И, знаешь, я ведь уже от многого отрекся, отказался ради этого ритуала...

Но он что-то не договаривал.

А спустя месяц Андрей умер. Кто-то выстрелил ему в живот из газового пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами, когда он вечером возвращался домой после репетиции. По версии следствия в него стреляли с целью ограбления, чтобы завладеть электроакустической гитарой «Мартин». Убийцу не нашли. И когда Архипов пытался представить лицо того, кто убил Андрея, ему виделась красная морда с маленькими глазками, утонувшими в этой красноте.

– ...Понимаешь, Саня, идет война, – бормотал Андрей в больнице, умирая от перитонита. – И земля победила небо...

Архипов молчал, понимая, что он хочет сказать ему что-то важное, о чем они не договорили.

– ... Бог умирает, – бредил Андрей. – Но мы должны Ему помочь снова вернуться... Как? Все обожить заново! Все одухотворить... Каждое дерево, каждый камень, каждую былинку, самих себя... Вот в чем смысл... – открыл Андрей глаза, огромные, и безумные. – Ах, если б мне пожить еще... Хоть один день... И на гору подняться, – совершенно другим, не своим грудным голосом, сказал он и умолк.

– Зачем, Андрей? – впился ногтями с траурной каймой в свою руку Архипов. – На гору-то...

– Саня, милый, я бы там крест поставил. Крест... Все откладывал на потом, думал – не имею права... На такое деяние... Теперь имею... Абсолютная осмысленность... Да поздно... Все мы братья на земле... Но нет духа... Ибо дух где-то там, высоко, но не здесь... на земле... Не здесь...

– Андрюш, может, это... священнику скажешь, про Бога-то? – Не знал, чем помочь другу несчастный Архипов, видя, что Андрей умирает. – Он лучше поймет, что к чему. Я могу священника... У меня деньги есть, – соврал он: кто-то ему говорил, что услуги священников платные.

– Не нужно... – вдруг открыл глаза Андрей, и столько в его глазах было сочувствия вперемешку с мукой, что Архипов не выдержал этого взгляда, отвернулся. – Священник отпоет и без денег... Я с небом привык говорить... Ты лучше крест поставь, на горе... И винца там выпей красного... Но только не грусти там, Саня... Не надо...

Умер Андрюша на руках Архипова. Странно, что кроме ребят-музыкантов, да красивой девушки, рыдавшей по Андрею, в больницу никто в тот день не пришел. Выходило, что у Андрея не было родных. А может, родственники просто не смогли приехать в Литву из-за

визового режима. И от этого было Архипову еще горше. Еще жальче Андрея, который никогда не жаловался на свое сиротство...

Вдруг звонок на сотовый. Архипов затормозил. Звонил Гоша:

– Ну, как ты?

Архипов сказал, что катит на Крестовую гору.

– Молоток, Саня! – поддержал Архипова Гоша, он же Игорь Анатольевич Беляев. – Держись. А я здесь Андрея помяну. Уже наливаю...

Но, видно, небеса были иного мнения об Архипове, чем Гошино. И как только он набрал скорость – бах! – едва успел затормозить, чтобы не сверзиться в кювет...

– Что за хрень?

Оказывается, отвалилась pedalь!

– Ну и ну! – присвистнул Архипов.

В задумчивости подобрал он на дороге pedalь, а неподалеку от нее – отвинтившуюся гайку. Приладил pedalь на место. Хотел было завинтить гайку, перерыл весь рюкзак – нет ключа! С горем пополам он закрутил гайку лезвием складного ножа. Проехал метров сто. И ногой почувствовал, что pedalь снова отваливается...

Архипов спешился. Закурил, шураясь на облака. В небе, будто в насмешку, натовские самолеты прочертили белый крест. До Крестовой горы оставалось девять километров.

– Поворачивай, оглобли! – провоцировали бесы. – Неужто попрешься?

Послав провокаторов к чертовой бабушке, Архипов двинул дальше, но уже пехом, ведя своего одра за руль. И даже песню строевую запел назло бесам:

Не плачь, девчонка, пройдут дожди,
Солдат вернется,
Ты только жди...

И боковым зрением ему видно, как люди вытягивают шеи из машин, едущих по трассе. Одна дамочка чуть из авто не выпала – вот как ей стало любопытно. И даже весело. Что не Архипов едет на велосипеде, а велосипед на нем. Ай-яй...

Вдруг – велосипедисты. Девушка и два парня. За спинами рюкзачки. Смеются:

– Крестный ход, да?

И катят дальше.

– Может, смогу помочь? – неожиданно притормозил крайний парень, высокий и тонкий, как бегун на дальние дистанции.

– Нет проблем, – отказался от помощи Архипов.

Пожав плечами, пацан рванул догонять друзей. Архипов зашагал дальше, толкая велосипед, по нескончаемой дороге, выматывающей душу.

– А мы тебе что говорили! – развеселились бесы. – Не двадцать, поди... Топай теперь, олух царя небесного!..

Становилось жарко, солнце припекало голову. И ему, седому, постаревшему за эту долгую зиму, мучительно хотелось пить. Но он не взял с собой воды, понадеявшись на свою солдатскую закалку. И подумалось с горечью: зачем жил? Какой был в этом смысл? Или его вовсе не было? Но он отогнал от себя грустные мысли. И вот, наконец, показался вдали поворот на Крестовую гору, отмеченный высоким каменным распятием. В груди Архипова шевельнулась давно забытая радость.

Он передохнул возле древнего изваяния. И еще километра три протопал он пешком, прежде чем открылась ему гора, сплошь покрытая крестами. Издали она была похожа на остров, будто парящий над лугом. Но, может, ему померещилось. А неподалеку – речка, тенистая, тихая, с песчаным дном. Ведро – в траве. И почему-то Архипову подумалось, когда он уви-

дел это ржавое ведро, что деревья, которые поливал Андрей, зацвели. Молодыми листочками шелестела рощица. Тихо было здесь. Привольно.

Архипов умылся в реке. Испил воды. Взял крест, лопатку из рюкзака. И медленно, озираясь по сторонам, пошел к горе. И каждый его шаг будто ангел считает.

Немного оробев из-за своего разбитого лица, постоял перед Христом – у подножия горы. Вырубленный из дерева, Христос простирал руки к несчастным и к счастливым, к победителям и к побежденным. И Архипов, словно пропуск получил за то, что так хорошо подумал.

По деревянным мосткам он стал подниматься наверх мимо крестов, туда, где светилась на солнце белая скульптура Богоматери. Там, на пологой вершине, он установил свой крест. Закурил, обволакивая взглядом сотни, тысячи крестов, поставленных людьми на горе, в надежде, что Бог услышит их молитвы. И вдруг увидел фигурку Будды, стоящую в траве под православным крестом, увешанным католическими крестиками и четками, звенящими на ветру. Архипов почему-то обрадовался этой фигурке со следами, оставленными временем и стихиями. И вспомнил, да ведь он же «буддист»! Так он объявил сегодня утром Ромасу, своему соседу, когда тот прицепился к нему, – какому богу он поклоняется. И стало до слез ясно, почему «все мы братья», как говорил, умирая, Андрей. Да не было здесь, на горе Крестов, ни рас, ни народов, ни богатых, ни бедных, ни религий, ни партий. «Все это какой-то офигенный обман! – думал Архипов. – Ведь все мы умрем!». И гора ему об этом напомнила.

И Архипов посветлел лицом. Он это сам почувствовал, что посветлел. Муть в его сердце осела. Ум успокоился. И он ни о чем больше не думал. Ни о чем не жалел. А просто ступал по тропинкам, проложенным среди крестов, вслушивался, всматривался. И таинственный мир горы с горами ржавеющих, гниющих и истлевающих на земле нательных крестиков, иконок, распятий, медальонов с ликами Спасителя утешал его. Будто гора заведомо скорбела и по его судьбе.



Гора Крестов

Архипов вернулся к реке, где стоял его Messenger.¹ Так называл его велосипед Андрей за надпись на раме «War Is Over». Архипов присел на траву, достал из рюкзака бутылку красного вина, хлеб. И выпил за Андрея, который, казалось, смотрел на него с небес, улыбаясь своей милой улыбкой. А потом – за всех ушедших, убитых на войне, погубленных от голода, нищеты и политики, да и за всех живущих. Такое было настроение. Редкое, светлое.

С какой-то непобедимой уверенностью завинтил он зазубренным, как пила, ножом, гайку на педали. И медленно покатил к трассе. Странно, но педаль держалась. И мало-помалу Архипов стал забывать о поломке, думая о чем-то другом, хорошем. А когда вспомнил о педали, то впереди уже был виден костел Петра и Павла с красной верхушкой, похожей на карандаш. Архипов удивился, что гайка до сих пор держит. Но без особых эмоций. Бывает и не такое. И вскоре, сам того не заметив, замычал песню Джона Леннона «Представьте себе», радуясь весне, попутному ветру и непотерянному дню.

¹ Несущий весть (англ.)

Ответа нет

Я бреду по городу, сам не зная куда. Ветер несет по мостовой мусор, прошлогодние листья, свистит в спиленных верхушках деревьев, воздевших к небу свои обрубки. И город кажется пустым, а дома точно покрытые копотью.

Ноги выносят меня на площадь с памятником вождю. Там толпится народ. На зелено-вато-черной от патины голове Ленина сидит, озираясь, ворона. «Верните мне сына!», – читаю я на одном плакате, который держит в руках старуха в черном платке. Кто-то меня окликает. Я не хочу встреч, деланных улыбок. И бегу дальше, уйдя в себя как улитка – прочь из города...

Сажу на пустыре за Новостройкой среди куч строительного мусора под набрякшим небом. Надо собраться с духом, говорю я себе, надо подумать, как и зачем жить дальше? И только тут до меня доходит, что Баринцева больше нет, и я мычу, обхватив голову руками:

– Как же так?

А час тому я шел к нему после трехлетней разлуки. Не шел – летел: так много хотелось ему сказать! Пожать его руку с нервными тонкими пальцами музыканта. Я знал, что только он поймет меня, этот утонченный ценитель поэзии Блейка и Джима Моррисона, этот последний романтик с одинокой душой. О, как я волновался, неся ему свои стихи, напечатанные в питерском самиздате. Ибо знал, что Баринцев разберет их по гамбургскому счету. И я благодарил судьбу, что когда-то, сто лет назад, судьба свела меня с Баринцевым, подтолкнувшим меня к свету, к Солнцу. Хотя близкими друзьями мы не были.

Двери открыла его сильно постаревшая мать.

– Валеры нет, – сказала она, не узнав меня.

– А где он?

– Он умер.

Я пошатнулся, теряя под ногами опору. Не помню, что я говорил несчастной матери. Она пригласила меня войти, и у меня стали холодеть ноги. А когда я прошел в пропахшую лекарствами тесную комнатку, где жил Валера, то похолодел уже весь. Старушка сказала, что он умер ночью от сердечного приступа, за письменным столом. Что все эти годы он по-прежнему тянул ляжку на в Лаборатории Добровольного Рабства, как он в шутку называл свой химцех на свинцово-цинковом комбинате. Выходило, что он так и не бросил это «чрево кита», где он задохнулся!

– Но почему? – безмолвно кричал я, глядя на аккуратно заправленную узкую кровать Валеры, втиснутую между столом и гробовидным магом «Дніпро», на портрет Джима Моррисона – на побеленной стене.

...В ту осень я увидел его из окна конторы комбината. Был обеденный перерыв. Он сидел в укромном уголке среди ящиков с оборудованием и, куря сигарету, поглядывал на плывущие по небу облака. У него были длинные, до плеч, волосы, и печальные глаза человека не на своем месте. И я не сразу узнал его, зачинателя рока в нашем городе. Так он постарел за два года. С тех пор, как его группа «Гелиос» перестала существовать. Я же помнил его другим. Молодым бунтарем в солдатской шинели, застегнутой на английскую булавку. Тогда, в семидесятых, группа играла, в основном, хиты Deep Purple, Led Zeppelin, The Doors. Но у музыкантов была и своя программа – песни, написанные Баринцевым с бас-гитаристом Лакизиным. Однажды, отчаявшись пробиться на сцену, «Гелиос» дал неофициальный концерт с высокого каменного крыльца Дворца Metallургов. Бледный, сосредоточенный, с пересохшими губами, Баринцев пел в дешевый микрофон о наболевшем. Это были зарисовки, точные и меткие: о первой любви, о стремлении к совершенству, несмотря ни на что. Молодежь завелась. Прибыл наряд милиции. Группу разогнали в тот же вечер.

Лакизин уехал из нашего города. Баринцеву пришлось уйти из музыкального училища. И он подался на комбинат, чтобы заработать деньги на электрогитары, и не от кого не зависеть. Лакизин сгинул где-то в столице, лабая по кабакам. Баринцев продолжал пахать на комбинате, где хорошо платили за вредные условия труда. Вот и все, что я знал о нем в ту осень. И мне хотелось познакомиться с ним.

Как-то раз, в заводской столовой, мы перебросились двумя-тремя фразами о роке, о новых дисках, поступивших в город, о чем-то еще. И я сразу же почувствовал духовное сродство с ним, хотя понимал далеко не все, о чем он говорил. Вскоре мы подружились.

– Да здравствует предел предела! – бывало шутил он, придя ко мне в красный уголок, где я, школяр без году неделя, работал художником-оформителем, малевал по кумачу призывы и лозунги.

– Или так. Снизим продолжительность жизни до тридцати пяти лет – рабочему старческий маразм ни к чему! – придав голосу начальственный тон, иронизировал Баринцев.

Я откладывал кисть.

– Ладно, старичок, не дуйся, – улыбался он. – Кстати, ты «Стену» Пинк Флойд слушал?

– Нет, – бурчал я.

– Потрясающая философия!

Мы садились на сдвинутые столы, закуривали. По натуре Баринцев был молчалив, но когда его прорывало, я слушал его с разинутым ртом. Высокий, тонкий в кости, с закинутыми назад каштановыми волосами, он расхаживал из угла в угол, и, как намолчавшийся герой Достоевского, говорил, говорил, например, о поэте, бунтаре Джиме Моррисоне, читал его стихи, которые он сам переводил на русский язык. В поэзии я смыслил мало, но слушая нервные сильные стихотворения Моррисона об убитых циничными взрослыми детьми, мне хотелось послать к черту, всю эту каждодневную тягомотину, съедающую мою жизнь! И бежать! В грозу, в шторм! Под жесткий ритм бас-гитары с барабанами. Прочь от пятиэтажных коробок, где так уныло утекает человеческая жизнь, где дяди и тети пьют, едят, говорят обиденную чепуху, смотрят в другой «ящик», и лгут себе, своим детям. А между тем под высокопарные речи вождей творится абсолютная беда. В «черных списках» рок-музыканты и поэты, говорящие правду о мире, где идут непрерывные войны, развязанные седовласыми дядями, неподелившими нефть и посылающими на бойню в горячие точки молодых парней. И я ерзал на столе, сопел от мысли, что завтра в шесть тридцать меня опять разбудит будильник, а потом я потрясусь на комбинат в битком набитом автобусе, чтобы писать слова и цифры, не нужные ни мне, ни людям! И внутренним взором видел, как я выбираюсь из автобуса и, стоя на бушприте парусника, лечу по волнам к новым землям, к новой жизни, упиваясь свободой! А Баринцев уже читал что-то из Уильяма Блейка. И я, как неуч с всеобщим средним, внимал вдохновенной речи о Гнозисе, учении древних, о Духе, нашей пленной душе, стремящейся вырваться из Материи, пагубной цивилизации, на свободу и обрести свою вечную светлую сущность...

– Ибо все мы душой золотые подсолнухи, – вздыхал Баринцев. – Помнишь «Подсолнухи» Ван Гога?

– Нет, – отвечал я, стыдясь своей дремучести. – Помню «Заключенных». Жуткая картина!

– О, да! И все мы заключенные, – улыбался он. – В зловонном чреве кита. Знаешь, о чем я мечтаю? – вдруг спросил он, взглянув на меня своими пронзительно грустными глазами.

– О светлом и прекрасном будущем, – сказал я зло бодро-пафосным голосом радиодиктора. Мне казалось, что Баринцев сдался. Это-то и злило. Талантливый человек добровольно превращает себя в рабочую скотину!

– Нет, старик, я не сторонник кровавых утопий. Войны, бунты, мятежи, все это выдумка дьявола.

– Тогда, может, о свежем дыхании океана? – не унимался я, зная, что Баринцев любит море.

– О, да! Я бы хотел жить на острове в океане, – покачал головой Баринцев. – Как этого хотел и Джон Леннон. Но Левиафан догонит тебя, куда бы ты ни сбежал, и убьет тебя, если ты сам не убьешь его в себе... Понимаешь, старик?

Он отвернулся, прикурил от бычка новую сигарету.

– Нужно жить в себе. Тогда кит обломает об тебя зубы. Ибо он не властен над твоим счастьем. Выспаться бы! Вот о чем я мечтаю...

– Выспимся в морге, – сказал я. – По-твоему подышать в этом зловонном брюхе кита это и есть счастье? А как насчет солнца? Ведь ты сам пел, что жизнь слишком коротка, чтобы ждать когда оно взойдет!

– Так оно и есть, – сказал Валерий. – Но все это слова, слова... А важен поступок.

Он замолчал. И я вдруг увидел, какое осунувшееся у него лицо с глубокой, как шрам, поперечной морщиной над переносьем, какие запавшие глаза. Но я старался не замечать, как мелко тряслась, тлела у самого фильтра сигарета в его тонких пальцах. Слушать людей, я тогда не умел.

По весне я ушел, не выдержав «псевдожизни», как называл Баринцев жизнь людей, загнанных в жесткий хронометраж, превращающий человека в робота.

В тот последний день, уже с трудовой книжкой в кармане, я выпил в красном уголке технического спирта, разбавив спирт водой из-под крана. Баринцев пить не стал. Он сидел на стуле с фабричной, семиструнной гитарой, и, низко склонив голову, так, что волосы закрыли лицо, наигрывал блюз. И вдруг заиграл «Лестницу на небеса» группы Led Zepplin, его пальцы плавно скользили по грифу, складываясь в аккорды, а когда мелодия достигла того рвущего душу гитарного пассажа, пальцы Баринцева заматались, и, держа ритм, он стучал в пол своим порыжевшим от химикатов башмаком с металлическими заклепками. Меня пробрал озноб, и я стал лупить себя по коленям, представляя себя за баррикадой барабанов в багровом свете прожектора. Ритм мы держали железно. И наш «концерт» в красном уголке весьма неодобрительно наблюдал из золоченой рамы бровастый вождь, отнюдь не любитель тяжелого рока. Но обеденный перерыв кончился. И Баринцев навсегда ушел от меня в свой цех, убрав волосы под кепку.

Я уехал в Питер.

Там я стучал на барабанах в панк-группе «Стресс». Ее лидером был мой одноклассник Леша Кушнарченко. Я жил богемной жизнью, скитаясь по трущобам Питера. Пока однажды, когда я лежал на голой сетке кровати в прокуренной комнате с тускло поблескивающими пустыми бутылками на столе, меня вдруг не охватила грусть. Что-то рыдало глубоко во мне, будто я потерял кого-то очень близкого. Вспоминался Баринцев. Я написал ему длинное покаянное письмо, хотя не был перед ним виноват ни в чем. Он не ответил.

– Все писал чего-то, – слышится мне голос его матери. – Ночью зайду, сидит за столом и пишет. А чуть свет – на работу. Я ругала его: что ж ты, сыночек, совсем не спишь? Сердце-то у него с детства болело. Все жалел всех. Бывало, ребенком куска один не съест: мама, а ты? Или понесет кому-нибудь. Куда ты, спрашиваю. А он: да мальчику одному бедному... А как лето – он в колхоз, к моей сестре. Это мама – тебе, я на прополке заработал. Отец-то его от военных ран помер, а на зарплату уборщицы особо не разгуляешься... Жалел меня, сыночек мой милый...

Она заплакала. Окаменев, я смотрел на портрет Джима Моррисона в позе распятого Христа. Ушел человек, целый мир ушел в могилу, не оставив следа!

– У него была тетрадь, такая черная, – решил спросить я, вспомнив про тетрадь Валеры, куда он записывал тексты песен, переводы, мысли, что-то еще...

– Какая тетрадь? – как-то беспомощно, глазами Баринцева посмотрела она на меня. Ее мучила одышка.

С пустой душой я надевал пальто.

– Тетрадку-то, – вдруг заговорила она. – Видать, на похоронах кто-то взял. Людей-то много было с заводу...

*

На кладбище я с трудом отыскал могилу Баринцева рядом с могилой рядового Владимира Семеновича Сотникова, погибшего в Афганистане в 1985 году. Я достал из кармана бутылку водки, яблоко, нож. Разрезал яблоко на три доли...

Был солнечный, холодный, ветреный день в начале апреля. Подставляя грудь ветру, я шел напролом между крестами и памятниками, туда, где искрилось на солнце не то озеро, не то ложбина, заполненная талой водой. Потом долго сидел у воды, тоскуя по самой жизни и уже не силясь отыскать ответ на извечный мучительный вопрос.

На берегу

1

Хозяин строящейся виллы нанял Клепова собирать камни на берегу моря. Под откосом Голландской шапки таких валунов из обломков горной породы было пруд пруди. Носить камни надо было к реке, где обрывистый берег резко понижался. Там была дорога, ведущая в поселок.

– Работай, – сказал хозяин. Он недавно вернулся из Египта. Его загорелое лицо излучало самодовольство: – Мне нужно много камней. Три пирамиды!

И Хеопс, как тотчас окрестил его Клепов, уехал.

Клепов стал работать.

Сначала он возил валуны на тачке вдоль кромки прибоя. Но колесо тачки увязало в песке. И он стал носить камни вручную.

До этого он трудился на стройке. Мастер, невзлюбивший его, давал ему работу потяжелей, замотал придирами. Прожигал сутулую спину Клепова подозрительным взглядом. Клепову хотелось дать в сытое, продубленное водкой и солнцем, рыло. Но он, нелегал, только стискивал зубы.

Здесь, на морском берегу, никто не давил его. Дул юго-запад, помогал одолеть путь до реки. Волны набегали на берег длинной полосой, откатывались, шипя в гальке. Сквозь прозрачную воду говорливой речки был виден каждый камушек.

Клепов сбрасывал груз и, сгорбившись, семенял обратно, оставляя следы на мокром плотно слежавшемся песке. Гора камней росла. На горизонте топали в порт и выходили из порта корабли. Запах моря будил в нем тоску по родине...

– Папа, – вдруг позвала его Даша.

Клепов выронил камень... Дочка стояла на откосе Голландской шапки и салютовала ему полотенцем.

– Ну, кто первый! – донесся из прошлого голос Марины, его жены.

– Я первая, я... – сбежала к морю Даша.

Клепов потряс головой, сбрасывая наваждение.

Последний свой рейс он совершил год назад. К тому времени чугунные кулаки рынка вышибли за борт не только его одного. Многие его знакомые, такие же моряки, как и он, остались без работы. И когда после простоя ему неожиданно предложили сходить в Австралию на судне, он долго не раздумывал. Хотя его приятель, механик, предупредил, что котлы у посудины, построенной в 1916 году, старше быть не могут.

Но поступила в университет Даша, тяжелой и редкой болезнью заболела жена...

Клепов поднял гладкий валун, сырой на ощупь, понес его к реке. Последнее письмо, вернее, посылку из дома, он получил весной в Литве. Зимой он перебил в России, на даче у бывшего морпеха Мишки Моремана. Клепов был в розыске. Мучительно тосковал по жене, дочке. Страдал от невозможности помочь им. Однажды Мишка попросил оказать ему услугу. Дело, которое он предлагал, было паскудное. Но выхода не было. «Это не наркота, а только табак», – глушил Клепов свою совесть, переправляя по дну реки в соседнюю страну запакованные в полиэтилен сигареты. Но грязные деньги не радовали. И каждый раз, когда Мишка отсчитывал ему бабло, на душе было погано, будто он продал родину.

Но как-то раз в один из «рейсов» через пограничную реку он чуть не утонул. Когда на самой середине непроглядного ледяного потока у него схватило сердце. Без акваланга и без товара он выполз на чужой берег, наглотавшись речной воды. Назад, в Калининградскую область, Клепов не вернулся.

Надеялся начать жизнь заново. Брался за любую работу. Бедствовал. Тогда-то и пришла посылка. Шерстяной свитер, связанный женой в больнице. Подарки от дочки: белая рубашка с вышитым синим якорем на рукаве, галстук с портретами битлов, песни которых Клепов любил. В письме жена сообщала, что Даша с группой студентов побывала в Англии, жила в Ливерпуле, совершенствуя свой английский. Благодарила за денежные переводы, которые Клепов посылал им из России.

«Бедный, бедный, мой! – писала Марина. – Нет слов, как мы с Дашей по тебе скучаем. Вчера опять приходил один тип из полиции. Спрашивал о тебе. Что же нам делать?..»

Солнце клонилось к западу. А он все носил и носил камни. Получилось три пирамиды. Хеопс оценил «шутку»: три креста из плавника, обточенного волнами, которыми Клепов увенчал свой труд. Тут же, на берегу, заплатил за работу. Клепова терзал голод, но идти в поселок, где был продуктовый магазин, у него не было сил.

2

Смеркалось, когда он дотащился до своей «фазенды», спрятавшейся в дюнах. Багровый закат, похожий на раскаленную лаву, залившую полнеба, предвещал непогоду.

Клепов падал от усталости. Хотелось лечь на землю и не вставать. Но он преодолел себя. На очаге, сложенном из камней, сварил в котелке картошку. Погонял чай, настоящий на зверобое. И заполз в палатку, натянутую на кольях. Но заснуть не мог. Нехорошо покалывало в перетруженном сердце. Болела поясница. Вновь и вновь, как в повторяющемся сне, он мыслями возвращался к трем пирамидам...

– Спать, спать! – приказывал он себе, ворочаясь с боку на бок.

Но поспать ему не удалось. Ночью задул норд-вест. Шквалистый ветер рвал и метал палатку. Скрипели на ветру сосны. Барабанил по парусине дождь. Под утро ветер улегся. Клепов зашевелился. Хотел откинуть тяжелый намочший полог. И вдруг обнаружил, что его левая рука омертвела.

– Работай, ну же, работай! – массажировал он руку.

Но рука не слушалась. Тогда он отыскал иглу, которой чинил рыболовную сеть. И вонзил ее в левое плечо. Бесплезно!

Клепов смотрел, как черная капля крови стекает по руке, сильно похудевшей за последнее время, и грубо выполненная наколка «И один в поле воин», которую наваял ему на плече кореш еще в мореходке, теперь показалась ему насмешкой над самим собой.

– Ни черта человек один не может, – ощерился он одними морщинами, сбежавшимися около его воспаленных глаз.

Но слезами горю не поможешь.

– Ничего. Буду работать одной рукой, – сказал себе он.

И выполз из палатки. Вокруг было сыро, зябко. Несколько листьев на деревьях, окружавших его логово, пожелтели. Краснела ягода-рябина. По небу волоклись черные косматые тучи, похожие на бомжей в лохмотьях. Шумело море. И Клепов подумал, что осень на Балтике ему не пережить.

Поев холодной картошки, он пришел к Голландской шапке. Вчерашние пирамиды уже отвезли на виллу, похожую на замок, окруженный оградой из валунов. На песке виднелись свежие следы, оставленные тракторными шинами. Под откосом лежала сосна, рухнувшая ночью. В ее ветвистую крону били волны, пенясь в густой зеленой хвое.

– Кандидаты, – грустно улыбнулся Клепов, глядя на кривые деревья, корнями нависшие над обрывом. И приступил к работе.

Большие валуны то и дело выскальзывали из руки, прежде чем он успевал прижать их к телу. Ноги противно дрожали, когда он поднимался с колен, тащил камень к реке. Река, пере-

полненная дождевой водой, изменила русло. На отмели хлопотали береговые птицы. Клепов радовался, что никто, кроме чаек, не видит, как он корячится. Наверно, это было жалкое зрелище.

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать... —

пел он, и песня помогала.

Но прошел час, другой, и он выдохся. Присел на сосну, истекающую янтарем. Сердце трепыхалось в груди, как пойманная на крючок камбала. Пальцы на правой руке посинели и походили на клешню. И Клепову даже смешно стало от мысли, что в любую минуту он может все это бросить и уйти. И никто его не расстреляет за это. Как того доходягу – зэка из сталинских лагерей, который не справился с одиночным замером. И только зря целый день махал кайлом, вырубая мерзлую породу, потому что вечером того же дня его расстреляли, как саботажника.

– Ведро! – поднялся Клепов. – Надо найти ведро...

И тогда он станет носить по два, по три валуна за ходку! На берегу, он не раз находил ведра. И проклял себя, что не взял с собой ведро, которое у него было на «фазенде»!

Но он только зря потерял время, отмахав по берегу мили три в сторону Мемеля. Кроме бушприта от парусного судна, да белой туфельки на высоком каблуке он ничего не нашел. Клепов поднял туфельку. Она потрескалась, как лак на старой картине. И в паутине ее трещин ему вдруг померещился тонкий профиль женщины, давно умершей.

– Мама...

В испуге он коснулся своей груди: кольцо матери, которое он носил на черной леске, было на месте. И это как будто придало ему силы.

Хеопс приехал в сумерках. Он был не в духе. Покосился на две пирамиды, мокро блестящие в свете фар, каждый камень которых стоил Клепову капли крови.

– Я не богач, – сказал он, доставая из внутреннего кармана кожаной куртки бумажник. – И не могу гонять трактор порожняком. Три пирамиды. Иначе...

Клепов выронил монету, зазвеневшую о камни...

– Что у тебя с рукой? – недовольно поморщился Хеопс.

– Так, ерунда!

– Ну, ну...

Пошел дождь. Не попрощавшись, Хеопс отбыл. Клепов едва дотащился до своей «фаезнды», промокнув до костей.



3

Ночью он опять не спал. Болел плечевой сустав правой руки. И он не знал, куда деть ноющую руку. Вдобавок его знобило. И не было никаких сил подняться, когда забрезжил хмурый рассвет.

Но он поднялся. Взял ведро и пошел к обрыву. Работа пошла быстрее. Но он заметно ослабел и, как он не упирался, к вечеру ему удалось сложить из камней только одну пирамиду.

Он начал складывать вторую, когда приехал хозяин.

– Так дело не пойдет, – впервые взглянул он в глаза Клепова.

От него пахло хорошим коньяком и фруктами.

– Еще не вечер, – оскалился в улыбке Клепов, шатаясь от усталости. – Я сложу пирамиды.

– Охотно верю! – хлопнул его по плечу Хеопс. – Но я за тобой сегодня наблюдал, – перевел он взгляд на море.

– Ты честный человек. А я не изверг. Вот деньги, – достал он из кармана куртки и протянул Клепову белый конверт из плотной бумаги. – Сходи к врачу. Здесь хватит. Я нанял другого работника.

Клепов взял конверт. Хозяин пошел к джипу.

– Тебе в поселок? – вдруг оглянулся он.

– Нет, мне туда, – махнул в сторону моря Клепов.

– Что ж, попутного ветра, – сказал Хеопс и сел в джип.

Клепов стоял на ветру с белым конвертом в руках. Прошла минута, другая, машина не двигалась. Зажженные фары выхватывали из темноты часть обрыва, каменистый пляж с упавшей в море сосной. Шумело в темноте море. Вдруг дверца джипа открылась:

– Эй! – позвал Хеопс.

Клепов подошел.

– Здесь немного бренди, – протянул он Клепову пузатую бутылку. – Выпей. Ты похож на мертвеца. Клепов взял бутылку. Хозяин уехал.

4

На другой день горизонт посветлел. В голубом, промытом дождем небе, плыли облака причудливой лепки. Из-за леса поднималось солнце.

Клепов стянул с себя свитер, связанный женой и, подивившись своей худобе, достал из рюкзака пакет с подарками дочери: битловский галстук и белую рубашку, которую он ни разу не надевал. Все надеялся, что его жизнь как-нибудь наладится. И тогда он, с чистой совестью, наденет обновки. Что ж, такой день наступил.

Перед осколком зеркала, укрепленного в развилке рябины, Клепов сбрил щетину. Надел чистую рубашку с якорем, повязал галстук. И снова почувствовал себя моряком, подчиняющимся корабельной дисциплине, верным старой традиции: уходить на дно в чистом.

– Хорошо, что у меня есть лодка и якорь, – подумал он как о чем-то обыденном, будто собрался на рыбалку.

Потом он сложил в рюкзак свои пожитки, которые, собственно, были ему не нужны. И, окинув взглядом свою «фазенду» с очагом из камней, столиком, который он соорудил из досок, подаренных морем, поднялся на гребень дюны.

На морском горизонте топал домой сейнер, зарываясь штевнем в волны. Горланили чайки. В последний раз Клепов оглянулся на лесистый берег, где в густых зарослях скрывалось его прибежище. Уходить с обжитого места было грустно. Но тянуть дальше не было смысла. Зачем?

По узкой тропинке он спустился на пляж. И, не оглядываясь, пошел вдоль берега моря в поселок: там он отправит денежный перевод своим девочкам, Марине и Даше, а потом уйдет в одиночное плавание на лодке, ошвартованной на старом причале. Эту лодку он нашел летом на берегу моря, бесхозную, отремонтировал, просмолил...

Клепов не торопился. Прощался с берегом, где знал каждое бревно. Да что там – любую вещь, отданную морем. Будь то маска для подводного плавания, глядевшая на Клепова пустыми глазницами, или матросский бушлат, распято лежавший на мокром песке. И странное дело, куда бы не упал его взгляд, все приобретало какую-то особую ценность. Будто вещи, утратившие свое назначение, были одухотворенными...

– Это голод, – вслух подумал Клепов. – Мне открывает глаза голод...

Впереди показался обрыв. Речка обмелела и вновь текла по старому руслу. Клепов перешел ее вброд. На берегу возвышались три пирамиды. Две из них он сложил ночью, хотя расчет был в кармане. Но он привык держать слово.

Из-за облаков выглянуло солнце, осветив глинистые откосы, испещренные глубокими промоинами, точно морщинами. И Клепов почувствовал на своем лице солнечное тепло.

Миновав Голландскую шапку, он вдруг увидел на гальке своего знакомца, некогда горделиво летевшего впереди своего корабля. Теперь бушприт умирал на берегу, никому ненужный. С наслоениями красной, синей, белой краски, с размочаленной верхушкой – он напомнил его, Клепова, выброшенного волнами.

Клепов снял рюкзак. Поставил его на гальку. Достал из рюкзака бутылку с остатками дареного бренди и, присев на камень возле бушприта, сделал из горлышка добрый глоток. Горячий толчок под сердце растекался по телу приятным теплом. В голове зашумело. Он сам не заметил, как стал разговаривать с брусом, будто со старым моряком. Рассказывал, как их судно, построенное в прошлом веке, с котлами, которые парили, как старая прачечная, попало в полосу полного шторма у западных берегов Австралии. Шторм доходил до одиннадцати бал-

лов. Океанские волны обрушивались на палубы, и ветер сбивал с ног моряков. Корабль потерял управление и его, точно щепку, несло прямо на рифы...

– Море кипело, ревело за бортами, – рассказывал Клепов. – Мы отдали оба якоря. Но один сразу сорвало, а у другого лопнула якорная цепь. И судно развернуло носом к волне. А потом его подбросило так, что мы повалились, хватаясь за что попало. И знаешь, о чем я жалел в тот момент? – Клепов отвернулся и мозолистой правой рукой судорожно провел по лицу. – Что я не успел... Понимаешь, не успел купить дочке компьютер. Это была моя мечта. Ей было трудно учиться в университете без компьютера...

Клепов сделал из бутылки еще глоток.

– Нас спасло австралийское судно «Olga», услышавшее наш SOS. Прилетели в Россию. Я получил расчет. И поехал домой. На поезде. Вышел покурить в тамбур. Там ко мне прицепились пьяные парни. Настроение у меня было светлое. Я дал им по сигарете. Но один из них приставил к моему горлу выкидной нож, потребовал денег. У меня второй разряд по самбо. Я провел прием, и тот, с ножом, ударился головой об железо. Другой убежал. Я поднял парня. Он был мертв. Домой я не вернулся...

Клепов умолк. Его сердце ширилось. Победоносным светом сверкало море. На морском горизонте средневековыми городами громоздились облака. Города рушились. И возникали вновь. Из порта вышел парусный корабль, судя по мачтам, бриг.

– Где твой дом, твоя команда? – иголкой вонзалась в сердце ностальгия.

Вдруг он увидел, как на горизонте из-под обломков города, расправляя гигантские в полнеба крылья, поднимается чудовищная, страшная своей красотой, страшная своим ужасом птица, готовая схватить мертвой хваткой каждого. Клепов понял, что сейчас птица схватит его, и как только он об этом подумал, птица его схватила, и он полетел в неизведанное, ощущая себя прощенным и легким, как перышко, уносимое ветром в пространство...

– Папа! – позвала его Даша.

Усилием воли Клепов хотел вернуться назад, но кто-то громко сказал:

– Якорная лопнула!

И конец оборванной цепи, болтавшийся у клюза, часто и тяжело стал бить по корпусу корабля, и каждый такой удар отдавался болью в сердце. Клепов летел прочь от земли, и удары цепи по корпусу становились все слабее и слабее, а звуки все глуше, потом цепь замерла...

Клепов лежал на песке, упершись лицом в небо. В вышине по небесному океану плыло семицветное, как радуга, облачко. Только бы не сбиться ему с курса. И даст бог, оно долетит до России.



Убить Крысу

1

Трюм сотрясает новый удар, и автомобиль, в котором сидит Сашка, катится вниз, как с горы, прямо в открытый люк лац-порт, где кипит и ревет штормовой океан; но, Господи Иисусе, не верит Сашка своим глазам: вместо тысячи тонн забортной воды, что должна вот-вот хлынуть в трюм, нутро парома заливают яркий свет, и качка прекращается. А его Жук, вместе с ним, вылетает в блистающий огромный, как вход в космос, мир, наполненный плеском соленой воды и криками чаек...

Он видит: залив, весь в насечке золотых бликов, и плывущий по морю бриг, паруса которого ходят углами, будто заблудились. Но они не заблудились, радуется Сашка: паруса ловят ветер и направляют его на свой путь! Он давит на газ и летит вслед за парусником в сияющую и влекущую океанскую даль, как вдруг кругом все темнеет, и его автомобиль, потеряв скорость, падает в бездну... Над головой Сашки обнажается заляпанное буро-зелеными пятнами водорослей днище брига, в диком ракурсе, невысказанно высоко, выскакивают мачты и, откачнувшись, валятся, падают на него, а его куда-то несет, тащит в холод, по грудь, по горло...

– Отец! – хрипит Сашка, дергая дверцу авто.

И просыпается от собственного крика.

За окнами автомобиля, где он спал, брезжит хмурый рассвет. Ветер швыряет в стекла желтые листья. Сашка с трудом распрямляет затекшую спину. Горько усмехается: будь у него лимузин, как у Джона Леннона, с креслом, трансформирующимся в кровать, с холодильником и телевизором, жить было бы можно... Но скоро зима – убийца бездомных. И от мысли, что зимой, в машине, ему хана, ярость, позор, сознание своей униженности захлестывают его, тащат в пучину отчаяния и безнадёги...

– Да ты слякоть, Саня, а не мужик, – бормочет он, нашаривая в бардачке сигареты. – Ты умрешь, а Крыса? Она что, так и будет жировать в твоём доме!

Открыв окно, он закуривает. В салон вползает едкий туман. Слышно, как в берег залива шлепают волны. Холодно, зябко. И мысли Сашки вновь возвращаются к зиме, и что надо сваливать, пока не выпал снег, но ехать – реально некуда. Спасибо все-таки Борьке Чанову! Сам предложил забрать у него «Фольксваген», будто сошедший с обложки битловской «Эбби роуд». Борька думал, что избавился от рухляди, занимавшей его сарай. Да и Сашка понимал, что восстановить автомобиль – все равно, что починить бабушкино пальто, которое начало рассыпаться, и реставрация будет стоить не дешево. Но деньги были. Недаром он вкалывал в море два года кряду. И Сашка загорелся. Решил сделать отцу подарок. Короче, на жесткой сцепке притащил «Фольксваген» в тюнинг-центр к одному умельцу-предпринимателю Юрке Чумакову. У этого парня был небольшой склад запасных деталей, которые чаще всего бывают нужны. И он восстановил Жука. Но работы с ним было много, ремонт оказался сложный и объемный. Машина была поражена ржавчиной. Нужно было ремонтировать кузов, механику, передний мост, двигатель. Сашка сам шлифовал ее бока, перебирал мотор, до винтика. И машина поехала...

– И будет ездить, десять лет и пятнадцать, – радовался Юрка как ребенок. – Тут ведь как? Можно металликом красить и лишний хром добавлять. Но самоделка не прибавит авторитета реставратору. Машина, Саня, должна стать такой, какой сошла много лет назад с конвейера или стапеля. Оригинальной. Наливай! Выпьем за твоего Жука!..

Юрка взял за реставрацию по-божески, хотя стоила она гораздо дороже. Предлагал работу в тюнинг-центре. Но Сашка отказался: «Домой, домой!..». Решил нагрязнать к отцу неожиданно-негаданно. Вот обрадуется батя!

За рулем Сашка вспоминал бродяжью свою судьбу.

...Когда погибла мать Сашки, – ее сбила спортивная машина, – отец в одночасье постарел, почти перестал говорить. Следствие установило, что владельцем гоночного «Порше» был один крутой бизнесмен из Калининграда. Но в тот день за рулем кабриолета, купленного не для автогонок, а для понтов и комфорта, сидел его сынок Дин. Так его назвали в честь Джеймса Дина, фанаткой которого была жена бизнесмена. По версии следователя водитель заснул, так как тормозной след «Порше» не был обнаружен на трассе. Дина арестовали, предъявив ему обвинения в неумышленном убийстве. Но вскоре отпустили. И Дин исчез из области.

Еле оправившись после трагедии, отец принялся изучать все, что было связано с автомобилем «Порше». Он был как бы ни в себе. А потом в доме появилась первая моделька. С тех пор он стал коллекционировать старые машины, покупая модели в «журнальных сериях», где они продавались в комплекте с красочным описанием прототипа. Стоили модели от пяти до двадцати баксов. Но Сашка, – он в то время учился в школе, – понимал отца и не смотрел на него, как на чокнутого. В отце всегда была некая особенность, которая стала особенно заметна, когда он овдовел. Он был одиноким, его отец. Сашка чувствовал его одиночество даже на расстоянии. И когда потом, взрослым, он вспоминал отца, то память ему выдавала одну и ту же картинку: сгорбившись, у стола, отец дорабатывает модель: подкрашивает дверные ручки, добавляет молдинги из фольги. И улыбается, если получается вполне хороший экземпляр, который не стыдно поставить рядом с моделями современных авто.

А как-то раз в его коллекции поселился «Фантом Пятый», завитушно-цветочный лимузин Джона Леннона, расписанный в психоделической стилистике. И отец разговорился. Рассказал Сашке, как в отрочестве он любил рок, собирал коллекцию виниловых пластинок, клеил на стены постеры с автомобилями, на которых разъезжали поп-звезды. А в юности, будучи студентом, он увлекся собиранием редких книг. Антиквариат стоил недешево. Однажды он отдал стипендию за книгу «Декамерон» Боккаччо, изданную в 1905 году, а потом сидел на воде и хлебе, но считал, что ему повезло, поскольку в книге были прекрасные иллюстрации. Так что летом и зимой он ходил в одном и том же габардиновом костюме, доставшемся ему по наследству от его отца. Но зато его далеко немодный прикид дополняла шляпа наподобие тех шляп, что носили в старые времена католические священники. На него показывали пальцем, его останавливали менты. «Все требовали, чтобы я снял шляпу, но я носил ее даже в морозы!» – рассказывал отец, стараясь рассмешить Сашку. Но Сашке было не смешно – скорее совсем грустно. Винил, книги, а теперь вот модельки, но что толку – своей-то техники у отца никогда не было. Хотя он хорошо водил машину. Шоферил в армии...

– Ничего, батя... Дай срок! – бормотал Сашка, заезжая на паром, идущий на косу, где в небольшом городке возле залива жил отец: – Сделаю в хате евроремонт. Куплю моторную лодку. Прорвемся!

И клял себя за то, что давно не писал и не звонил отцу. Но скоро, уже скоро, он подкатит к родимой пятиэтажке: «Это тебе, пап от Битлз. Будешь ездить в магазин, на рыбалку...».

Подкатил. А в их двушке на первом этаже хозяйничала полнотелая растрепанная тетка с голыми ногами и мокрой тряпкой в руке. Сказала, что она ухаживала за его отцом, когда его разбил паралич. А когда он умер, то она похоронила его, взяв на себя все хлопоты.

– Все, все, как он велел, – трещала тетка, не дав ему опомниться. – И розы положила на могилки. Покойничек так просил, чтоб ему белые. Он белые любил розы-то, а мама ваша – красные...

«Папа умер?! – не верил в реальность происходящего Сашка.

Бросив ему под ноги тряпку, тетка протопала в комнаты. И он услышал до боли знакомый звук выдвигаемого ящика в письменном столе отца. Как бы ни веря в то, что там сейчас не отец, он зашагнул за порог. И увидел кровать отца с пирамидой взбитых подушек, покрытых кисеей. Стеллажи для книг. Пустые. Возле окна, за которым зеленела береза, посаженная Сашкой в детстве, стояла новая инвалидная коляска. «С ручным приводом...», – мимоходом оценил Сашка. – Но папа не поместился бы в ней...». Тетка протянула ему синий листок с прищипленной к нему канцелярской скрепкой желтой бумажкой. Листок оказался свидетельством о смерти. Отец умер от сердечной недостаточности. «Неделю тому!» – ахнул Сашка, страшными усилиями сдерживая слезы...

Тетка сунула ему в руки какие-то бумаги...

– Какая дарственная? – не врубался Сашка. – Спасибо, тебе, конечно, что ты ухаживала за моим отцом. Я понимаю, как это тяжело... Но отец, наверно, платил тебе... И я тебе заплачу... Но причем тут дарственная? – заволновался он, пытаясь упорядочить мешанину, происходящую в его мыслях, найти точные, сильные слова, но не находил: – Он, что, мне ничего не оставил? Ни письма, ни записки? О, как! Но пойми же, я его сын! Короче, будь добра, уйди из моего дома!..

И вразвалку, он пошел к отцовской кровати, сел, посидел, затем направился в другую комнату. Диван, застеленный газетами, стоял посередине комнаты, стены здесь были обклеены новыми обоями с розанами. Он смахнул газеты на пол и как бы рухнул на свой диван. Ах, как же он мечтал об этих минутах в море! О доме, где бы никто, ни одна сволочь, не смогла бы достать его. Как же так, папа? Как же так?..

Сашка вскочил. Вернулся в «залу», остановившись у стеллажей, спросил недобро:

– А книги где?

– Мне што, полицию вызвать? – прошипела тетка (именно в этот момент он и назвал ее про себя Крысой, хотя больше она походила на носорога – из-за крупного носа с бородавкой). И взгляд ее говорил: «Я тут полноправная. А ты, извиняюсь, ошибся – гость ты...».

Сашка не знал, что делать? Как поступить? И оставлять все в таком положении тоже не мог...

– А машинки? Где модельки отца?

Он хотел крикнуть, но от горя не смог. Закричала Крыса, уловив нутром свой перевес.

– Не знаю, не ведаю. А вот, где ты был, милок, когда я отца твоего из дерьма вытаскивала! Отец ждал тебя... Всякое думали... Время-то, какое. Людей вон убивают, как мух. Сердешный, даже памятник хотел тебе заказать... Но я отговорила... Не хорони, мол, сына загодя. Может, еще опомнится, непутевый. Я не виноватая, што он оставил мне квартиру. Так-то я квартиру помогла ему приватизировать. Часть денег внесла. А книжки-то... Так я их в кладовке сложила...

И вдруг завывла, запричитала:

– О-о-о, горе ты мое. О-о-о... Пощади бабу сирую... Мне мало осталось, родной. Болею я шибко...

И бах! – упала перед ним на колени, крепко сбитая, по-виду еще не старая, но враз превратившаяся в полоумную старуху: что, мол, с юродивой взять!

– О, не губи нас, Сашенька... – поползла к нему, завывая.

«Во актриса!» – удивился Сашка, невольно отступая к выходу. А тетка, продолжая голосить, все ползла к нему, тесня его в прихожую, разве что не билась лбом об пол. «К черту!» – внезапно устал Сашка. Раздавить бы гадину! Но это потом, потом, подумал он. Не надо кричать. Есть правосудие. А если что, он будет судить ее своим судом!

– Говорю, не сделаешь все по совести... – ответишь перед законом! – клятвенно сказал он. – Принеси воды!

Тетка замерла, переваривая его слова, поднялась, одернула юбку. И обтирая руки о фар-тук, протопала в кухню.

Сашка обвел глазами комнату. Несколько раз взгляд его возвращался к окну, где стояла инвалидная коляска, блестящая хромом. Коляска беспокоила его. Почему-то хотелось ее потрогать... Появилась Крыса. Сашка взял у нее стакан, выпил воду. И стиснув зубы, вышел вон, почти побежал...

Теперь, вспомнив свое позорное бегство, Сашка мычит от стыда, уронив голову на руль. Ведь, как ни крути, отец подарил квартиру Крысе, а не ему, единственному сыну. Вот что, рвало его душу на куски! Пока он не поговорил с соседкой отца, Татьяной Федоровной. Набожная, одинокая, Татьяна Федоровна, дружила с покойной Сашкиной матерью, и не верить ей у Сашки не было оснований. Она-то и рассказала ему, что отец страдал, узнав, что полноправной хозяйкой его квартиры стала опекуна. Расчетливость и «умение жить» в характере отца никогда не присутствовали. А после инсульта глаза его видели плохо, ему подсовывали документы и он подписывал...

– На инвалидах наживаются, – вздыхала Татьяна Федоровна. – Нельзя обижать, ведь все вернется сторицей обидчику...

Сашка пошел к адвокату. Адвокат сказал ему, что оспорить документ в суде будет невозможно. Дарственная подписана. А российские реалии таковы, что дарственная – это практически неоспоримая сделка. Доказывать, что отец был в заблуждении – не реально. Доказывать, что отец был недееспособным в данном случае тоже не реально.

– Ни одного судебного прецедента, – сказал адвокат. – Если только одариваемая сама не откажется от подарка. Попробую вызвать ее в суд...

Крыса в суд не явилась.

Взяв полотенце, Сашка выбирается из машины. Идет на берег залива, раздевается. Кладет одежду на валун, лежащий на берегу. Махая руками от холода, бежит трусцой по тропинке, засыпанной палыми листьями. И бросается в воду. Вода ледяная. Но в заливе он плавает ежедневно, боясь ослабеть волей и скатиться на дно.

Сашка выходит из воды. Растирается полотенцем. Ему не хочется покидать лес и залив, где он ловил рыбу, собирал грибы, ягоды. Яков Иванович, лесничий, принимал Сашку за отпускника, убежавшего из суеты города на лоно. И когда налетал шквал, добрый старик разрешал ему ставить машину под навес на своем подворье. Сашка помогал ему заготовить на зиму дрова, колот чурбаки, складывал дрова в поленицы. Яков Иванович подкармливал его. Но наступила осень, полетел с деревьев лист, а он все не уезжал в город. Смотреть в глаза Якова Ивановича стало тяжело.

Сашка надевает рубашку, свитер, натягивает джинсы. Некоторое время он стоит на берегу, смотрит на воду, на деревья, прощаясь с милой его душе природой. Рвутся в небо стволы сосен, будто пытаясь узреть лик Бога. Но Бога там нет... Потому что, если бы Он там был... И Сашке впервые хочется, чтобы Он там был. Хотя бы маленький, местный бог, который приехал бы на своей огненной колеснице, и спас бы его, восстановил справедливость. «Плохо без родных, без близких...» – вздыхает он, не зная, как жить ему дальше. Может, он снова уйдет в море. А, может, погибнет, если станет немого. Но прежде он рассчитается с Крысой! Сашка знает, что она работает поваром на кухне в местной больнице. Каждый день она ходит с работы через пустырь, прилегающий к заброшенному корпусу санатория. Там, на пустыре, ее собьет маленькая городская машина с заляпанными номерами.

Сашка ставит Жука на углу маленькой площади неподалеку от кладбища и выходит из машины. В его руках два букета из алых и белых роз. Кругом пусто. Только возле арки кладбища, сложенной из красного кирпича, сидит в инвалидной коляске убогая, осыпаемая желто-багряными листьями. Сашка роется в карманах куртки, вытаскивает несколько монет, чтобы подать калеке. Но подойдя к арке, прячет деньги в карман: в коляске – не побирушка, а темно-волосая красивая девушка в вязаной белой шапочке читает книгу, опустив нарядные ресницы.

Сашка хочет пройти незамеченным, мысленно пожалев красавицу. Но девушка поднимает голову. И в ее удлинённых, умных глазах вспыхивает любопытство и страх...

– Привет, – неожиданно для себя хрипло произносит Сашка. – Ну и место же ты нашла для чтения. Что, книжка интересная?

– О, да! – в глазах девушки горит нескрываемый интерес. – Я маму жду...

И смотрит на него такими глазами, будто он зверь лесной. А в следующий миг его грудь и лицо обдает жаром: «Не может быть?». На коленях у девушки лежит книга, раскрытая на старинной иллюстрации к новелле Боккаччо «Алатиэль»!

– Хочешь, я угадаю год издания этой книжки? – спрашивает он, совладав с собой.

– Не нужно, – вспыхивает девушка. – Год ее издания тысяча девятьсот пятый. Это книга вашего отца. Вот экслибрис, – показывает она ему титульный лист.

Да это был книжный знак, знакомый ему с детства: парусник, отплывающий «к новым странам, к новым людям», как пояснял идею экслибриса отец.

– Откуда она у тебя?

– Я живу в вашей квартире, – смотрит она на него с мольбой и отчаянием.

– Вот как... – присвистывает Сашка, понимая, что все полетело к дьяволу! Он спалился...

– Так это твою коляску я видел в доме моего отца?

– Да. Но в то время я там не жила... А где же вы были так долго? Почему не приходили? Мы с мамой комнату вам приготовили. Так-то это и ваш дом. Мама плачет... Что все так не по-людски получилось, жалеет вас, – спеша, боясь, что не успеет сказать нужное, выпаливает она, волнуясь.

«Жалеет она, видите ли, – думает Сашка, не зная, что и сказать. – Крысы не плачут. Они подло кидают. А девчонка просто ангел, бывает же такое...» – проносится в его голове.

– Мама твоя не пришла в суд. Значит, сдалась. А за комнату спасибо. Почему ты в коляске?

– У меня пересажена почка. Мама мне свою почку отдала...

– Почку? Вот как... А где вы до этого жили?

– В Риге.

– У вас там квартира?

– Была... Но вернулся из Америки прежний владелец дома, где мы жили, и нас выселили...

– А как сюда, на косу?

– Так получилось. Мама поехала в Калининград к своей подруге. Искала работу. Увидела объявление, что нужна сиделка... А я в это время жила в Риге, на съемной квартире... Простите нас, Саша...

Девушка всхлипывает.

– Ну, ну, не надо плакать, – говорит Сашка. – Что ж, пожалуй, я пойду, – решает он уйти, чтобы не встречаться с матерью девушки.

– А вы еще вернетесь?

– Как знать. Может, и не вернусь, – растягивает Сашка обветренные губы в подобие улыбки. – Ясное дело, вам с мамой будет куда лучше, если я исчезну.

– Зачем вы так, – укоризненно говорит она, покраснев. – Вы нам совсем не чужой. Я все ваши фотографии в альбом поместила. Вы столько повидали стран! А Жук это ваше авто?

– Я отцу хотел его подарить.

– Ваш папа был бы рад... Жаль, что он продал свои модельки, когда у него не было денег. Знаете, ведь у него был инсульт, потом инфаркт... И он боялся, что у него отберут квартиру за долги и что вы, Саша, останетесь без угла. Мама сама не ожидала, что он так быстро уйдет, ваш папа... Она и сейчас как бы в шоке. Каждое воскресенье цветы приносит вашим родителям...

– Как тебя зовут?

– Бэла.

– Красивое имя.

– Вообще-то меня Изабеллой зовут...

И смотрит на Сашку теплыми, жалостливыми глазами. Так на него смотрела только мать. Его сердце схватывает острая тоска...

– Это тебе, – кладет он на колени девушки два букета из роз.

– Ой! Спасибо большое!

И Сашку опять обдаёт жаром.

– До свидания, Бэла.

– До свидания, Саша, – отвечает она и протягивает ему руку.

Сашка пожимает теплую ладонь девушки. «Ну, что, съел?» – цедит он сквозь зубы, направляясь к машине. И сплевывает от неприязни к себе: – Убивец нашелся, мать твою...»

Вскоре он едет по шоссе к переправе, но вдруг сворачивает в лес, глушит мотор. Выходит из машины и падает навзничь в траву. Кругом тихо, ни звука, ни даже писка какой-нибудь оставшейся на зимовку пичуги, а на расчищенном небе ни облачка. Лес застыл. Ничто не шелохнется. Ни лист на дереве. Ни травинка. Только в вышине что-то мелодично позвякивает, будто снасти яхт, стоящих в небесной гавани. И он словно пьянеет от этой тишины, срастаясь с природой – с землей, с деревом, с камнем, выглядывающим из травы. И вдруг чувствует себя невыразимо счастливым. Господи всемогущий! Дыхание у него перехватывает и на глазах выступают слезы – так остро он ощущает переполнившую его радость. Ему кажется, будто что-то нереально красивое, но отчужденное и холодное смотрит на него из бездн неба, жалея его, дурака, сострадавая ему...



Дом в готическом стиле

1

Сумрачный февральский день был на исходе, когда Жанов, отработав дневную смену в котельной, вышел на воздух и, подняв воротник пальто, побрел домой.

Муха, сабочонка бабки Дуся, с радостным визгом бросилась ему под ноги, когда он зашел во двор домика с синими ставнями, где снимал угол. Из дровяника вышла бабка Дуся в ватнике и с железным совком в руке.

– Осподи, Володя пришел, насилу нынче поднялась к метеле-то, – обрадовалась она квартиранту.

Жанов потрепал по животу Муху, упавшую на спину; взял у хозяйки совок, зашел в дровяник и наполнил ведро углем.

– Ох, ох, – вздохнула бабка. – Худо человеку одному... Щас чай пить будем...

Сгрузив в кухне ведро с углем и несколько поленьев, Жанов ополоснул лицо из рукавомника и прошел в свою комнатку. Ставни были закрыты, и в закуте было темно, как в склепе. Он снял пальто и повесил его на гвоздь, вбитый в стену. Оставшись в свитере, лег на панцирную кровать с никелированными шарами. Его знобило.

– Я болен, – признался себе он, глядя на светящиеся щели в ставнях. И ему вдруг представилась нескончаемая вереница бритоголовых серых людей, идущих строем к закатному солнцу, похожему на апельсин. Мои убитые дни, подумал он, мысленно рисуя черные дыры на близких силуэтах. И вскоре впал в забытье...

– Хворь божье посещение, – склонилась над ним бабка Дуся в белом медицинском халате и с иконой в руках. – Накось вот...

Жанов взял из ее рук икону, но она оказалась его этюдом: дом с треугольным фронтоном смотрелся в темную гладь озера, в котором отражались голые деревья и два готических окна, пламенеющих закатом. Строение из красного кирпича растеклось, обратившись в багряный шар, плывущий в черном дыме туч. С карканьем взлетели с деревьев черные птицы. Одна из них села ему на голову и принялась долбить висок. Застонав, он очнулся от непереносимой тоски...

– ...Уголь-то нынче, одна пыль, – бормотала в кухне бабка Дуся, выскребая совком золу из печи. – Не напасешься...

Щели в ставнях потухли. На венском стуле возле кровати стоял стакан. Жанов залпом выпил остывший чай, пахнувший березовым веником, и откинулся на подушку. Перед его глазами опять всплыл дом в готическом стиле, вызывая в памяти незадавшуюся его жизнь.

...Его отец, военный летчик, разбился под литовским городом Шяуляй, когда ему было так мало лет, что живым он его не помнил. Помнил он памятник на старом кладбище, украшенный серыми авиабомбами, где был похоронен отец; а дом, где они тогда жили, был двухэтажный с остроконечной черепичной крышей и стрельчатым оконцем вверху на торцевой стене. За домом находился парк с озерцом, из которого вытекал ручей. Однажды к своему неопишуемому восторгу, он нашел в ручье позеленевшую монету. С конным рыцарем, держащим над головой меч...

– ...Нет нашего Николаича, – бормотала за стеной вдовая бабка Дуся. – Нет больше нашего хозяина... Где наш Николаич? Ох, ох...

И Муха поскуливала, не выдерживая горестных интонаций хозяйки, скорбящей по мужу, Николаичу, умершему от военных ран. А Жанов вновь и вновь, как в повторяющемся одном и том же сне, памятью вернулся в Литву; он катил на велосипеде летним днем по тихой, погруженной в тень, улице своего детства, и вдруг слышал «бум-бам» – звук колокола, что внезапно

ным раскатом сотрясал дремотный полдень, окутывающий город с белым костелом. Куда он направлялся, предоставленный самому себе? Конечно же, туда, где все дышало тайной. От замшелого надгробия с выбитым в камне черепом, в глазницах которого собиралась вода, – до склепа с крестообразной прорезью в железных, наглухо закрытых дверях. Оставив велосипед у могилы отца, он припадал глазом к сквозному кресту: не златоволосая ли Морелла спит там, внутри, в хрустальном гробе, подвешенном на ржавых цепях? И тем сильнее была радость от яркого летнего дня, когда, оторвавшись от сочащейся могильным холодом глубокой глубины склепа, он, раскинув руки и, гудя как самолет, сбегал по откосу кладбища к озеру, в котором отражался костел и облака, а сквозь пронизанную солнцем воду просвечивали груды раковин, лежащих на песчаном дне. Он смотрел на эти сокровища сквозь воду. С плачем носились над водой чайки. По кому они так плакали в такой чудесный летний день?..

А потом не стало у него и матери. Она умерла в Сибири, куда они уехали, покинув Литву. Мать работала фельдшером в сибирском райцентре, заразилась тифом... Так он остался один.

Его взяла к себе тетка Аня, мать сестра, жившая в селе. У нее было трое детей, а муж ее погиб на фронте. Время было послевоенное, голодное. Хворый, слабый Володя тяжело заболел в первую же сибирскую зиму. Тетка Аня повезла его на санях в райцентр. Признали воспаление легких. Но он выжил. Тетка Аня определила его в детский дом. Там все-таки – питание, да какой-никакой присмотр. В детдоме Володя понял, что стал беспризорным, но поверить в то, что у него нет больше ни отца, ни матери, не захотел.

Там, в детдоме, он впервые и нарисовал дом, каким он ему запомнился. Рисунок он носил с собой, обернув им пожелтевшую фотографию матери, где она, совсем юная, стоит у березы в белом довоенном платье в черный горошек. Шло время, и с каждым новым рисунком дом стал обрастать деталями. Появились зубчатая башня со шпилем, увенчанная крестом, готические окна, расцвеченные витражами, подвесной мост. Никто не верил ему, что его отец, летчик, и что скоро он прилетит на бомбардировщике, заберет его домой. Рос он нервным, чувствовал себя не таким, как все: то сидит на чердаке с книжкой, то где-нибудь рисует, уединившись, свой дом. Детдомовцы дразнили его «литовцем».

Весной он убежал.

Его сняли с поезда в Барнауле. Под конвоем доставили в детский дом. Но мысль о побеге не отпускала его. И он опять убежал. Правда, спустя четверть века после той, такой далекой, детдомовской весны. И вспомнилось Жанову, как по вечерам, спасаясь от самого себя, он чертил в кухне панельной малогабаритки, проект готического храма. Получалось нечто уродливое, наподобие колокольни, сооруженной «под готику» возле рвущейся в небо церкви святой Анны в Вильнюсе. Колокольню соорудили гораздо позже, чем церковь. И она напоминала слоеный торт, контрастируя своей тяжеловесностью с легкой и филигранной церковью святой Анны, будто пылающей на фоне синего неба. И он хотел большего! Было ли это непомерной гордыней? Вряд ли. Гения из себя он не разыгрывал. Но хотелось настоящего дела. После опустылевших стандартных лестничных клеток, которые он, молодой архитектор, проектировал, как робот, в конструкторском бюро...

– Ты спать-то когда-нибудь будешь? – заходила среди ночи в кухню его жена Арина, врач-терапевт. – Лучше бы картины рисовал, дурачок! – наклоняясь она у стола, где Жанов, согнувшись в три погибели, рисовал витражи, копируя сцену «Снятие с креста»...

– Хорошо ведь выходит... И продать можно. А церковь твоя... Кому она нужна? Горе ты мое луковое... Посмотри, мы как на вокзале живем...

Арина вздыхала. И за этим тихим ее вздохом слышался ему отчаянный крик стареющей женщины, лишенной возможности родить ребенка из-за болезни сердца. Жанов понимал, она права, и она устала жить с ним, с неудачником. Думал, глядя на свой рисунок с мертвым Христом: «А, правда, зачем?..»

– Все, – говорил он себе по утрам, шагая на работу. – Надо что-то делать, так жить нельзя...

Но наступал вечер после тусклого дня, проведенного в КБ, где коллеги половину времени обсуждали очередную «мыльную оперу», которую Жанов не смотрел, а вторую половину – пили кофе, курили, перемалывая кости местной элите. Спасаясь от одиночества вдвоем, он опять шел в кухню, к своему храму, устремленному в небо.

Так летели с ужасающей похожестью дни, с одной и той же навязчиво бьющей мыслью: «Бежать...». И он ушел...

– Что-то неладно с твоей душой, – говорил ему художник Володин, у которого он брал уроки рисования.

Жанов и сам понимал, что «неладно». Но ностальгия продолжала мучить его, маскируясь под конкретное географическое место, хотя все было, конечно, намного глубже. Загадочнее. Страшнее. Но что он мог дать Арине, вернувшись к ней? Свою тоску по несбывшемуся? И опять зажить провинциальной жизнью, набивая по вечерам свой живот и глядя в телевизор? Нет, уж лучше сгинуть в диком лесу, погибнуть в море, замерзнуть на горной вершине, чем стареть, обрастая жиром, и ждать смерти!

– Скорей бы весна! – теперь думал он, тщетно пытаясь согреться в своем закуте. Зима, холод, невозможность писать на воздухе, – все это раздавило его...

Он спустил с кровати ноги, нашарил на стене выключатель, зажег свет. В нервном возбуждении упал на колени и достал из-под кровати свои любительские картины, перевязанные бечевкой. Развязал... Почти с каждого картона на него смотрел его «дом», при разном освещении, среди зеленых деревьев... А вот последняя работа, которую он считал законченной – дом с пустыми глазницами окон среди голых деревьев с вороньими гнездами подпирает тяжелое осеннее небо. Володин, скупой на похвалы, сказал ему, посмотрев эту картинку, что он, наконец, сумел достичь глубины пространства и ясной, простой формы. Но это не утешало...

– «Да был ли дом на самом деле?!» – в тоске замер, стоя на коленях, Жанов. Или это греза, иллюзия, бред! И будто его ударило что-то: «Поеду!».

2

В Прибалтику Жанов полетел весной по туристической путевке. Самолет приземлился в Рижском аэропорту, где туристов из Сибири встретила Регина, гид, приехавшая в Ригу из Литвы.

– В Шяуляй отправимся вечером, – с мягким прибалтийским акцентом сообщила она. – А теперь будет экскурсия по Старой Риге...

Апрельский день выдался холодный, ветреный, но светило сильное солнце, и золотые петухи на шпилях церковей ярко сияли, суля надежду. Средневековая архитектура Старой Риги на правом берегу реки Даугавы ошеломила Жанова своей красотой. Он отбил от группы, и зашагал один, сунув план Риги в карман своего старомодного пальто, и город с теснящимися домами, с громадой Домского собора с монастырем, с запахами кофе из кафе поплыл на него, будто гигантский фрегат, а воздух был пропитан сырым ветром с Балтики. Миновав «трех братьев» – средневековые дома на улице Малая Замковая, – он неожиданно для себя зашел в костел Скорбящей Богородицы.

В сумрачном пространстве костела приглушенно звучал орган, в вышине под сводами над алтарем светило круглое окно с витражом, освещая Распятого. Было безлюдно, только две старушки сидели впереди на дубовых скамьях. Присел на скамью и он, положив на колени шляпу, купленную перед отъездом.

Он смотрел на Христа и силился понять – в чем же сокровенный смысл страданий? Нет, он не хотел ни смирения, ни страданий. Напротив. Хотелось поднять голову, распрямить плечи, полюбить свою судьбу, свое чувство неповторимого «я»...

– «Как неудобно, скучно, нелепо мы живем!» – думал он, вспомнив свою недавнюю безысходную тоску в далекой отсюда Сибири, свои ночные бдения над проектом «дома», жену Арину, бабу Дусю, любившую читать по вечерам Библию.

Из церкви он вышел с каким-то новым чувством и радостно зашагал по городу, куда глаза глядят, жалея только об одном, что радость эту, так внезапно нахлынувшую на него, не с кем разделить. К автобусу туристического агентства он пришел раньше остальных своих земляков.

Смеркалось и лил дождь, когда автобус прибыл в Шяуляй. Туристов поселили в небольшой гостинице, где-то в новом районе. Жанову не терпелось отправиться в Старый город, где был его дом, но дождь не прекращался и, поколебавшись, он спустился в бар. Там он присел за свободный столик в дальнем углу и заказал кофе и рюмку коньяка. Официантка мимоходом включила магнитофон, мягко зазвучала, полосула по сердцу плачущая гитара Эрика Клэптона. Коньяк согрел грудь и успокоил нервы. Дождь все еще лил, а в баре было тепло, уютно. Какое-то время Жанов наслаждался отдыхом. Но вскоре ему мучительно захотелось позвонить Арине, такой же одиночкой в мире, как и он, однако междугороднего телефона в гостинице не оказалось. Он погрузился, и праздник души закончился.

– Бедная моя, – вздыхал он, поднимаясь по лестнице в номер, жалея свою жену, себя, погубленную свою молодость.

Спать ему не хотелось. И он еще долго стоял в конце коридора у окна, глядя на огни ночного города, прежде чем зашел в номер, где спали мужики, сотрясая стены храпом.

Утром, едва рассвело, он распахнул окно. В комнату ударил свежий ветер. Внизу, под промытым дождем небом, лежал незнакомый и в то же время, узнаваемый город. Он быстро оделся, вышел из гостиницы и почти побежал к мосту, соединяющему новый район со Старым городом. Перейдя мост, он пошел наугад, как вдруг в перспективе одной из улиц – будто во сне наяву! – он увидел белый костел, главенствующий над крышами домов. Теперь он знал, где его дом!

Вот и главная площадь, костел Петра и Павла в стиле ренессанса. Сквер с каменным фонтаном и дорожками, посыпанными кирпичной крошкой. Сюда, в этот сквер, он приходил с мамой кормить голубей. Заморосил дождь, тучей поднялись в небо галки. Жанов остановился. С растущей в груди тревогой, он смотрел на старые липы с черными гнездами в голых ветвях, на костел, куда тянулись под дождем люди. Там, за костелом, лежал его отец. Один на чужбине. Но к дому!

Ноги несли его сами, и к дому он вышел безошибочно – со стороны парка. Как и сто лет назад, там бежал из болотца ручей, где он любил играть в детстве. Только парк заматерел, и дом, – реальный, настоящий дом – просвечивал сквозь стволы старых деревьев с сомкнутыми вверху кронами.

– «Здесь я бегал ребенком...», – повторял он, ступая по мягкому ковру из прошлогодних листьев.

Окно в их бывшей квартире на втором этаже было распахнуто, и ветер трепал вырвавшуюся наружу белую занавеску. Жанов ослабел, спиной привалился к дереву, глядя на дом, на гладкие без пулевых выбоин стены, на окно, в котором уже никогда не появится, не помашет ему рукой мама... Дом был обычный, ничем не примечательный...



– Худо быть одному, – вспомнилась ему фраза из библии, которую часто повторяла бабка Дуся далекими зимними вечерами. И Жанову хотелось влиться, врасти в дерево и, наконец, обрести вечный покой.

Долго с чувством печали стоял он в парке. Сколько воспоминаний! Внутренних слез, исторгнутых его душой. Но шумел в ветвях весенний ветер, и шум этот сливался с голосами птиц, радующихся весне. И мало-помалу боль его стала постепенно облегчаться. Будто лопнули ржавые оковы, сперва сдавившие сердце. И тихое утешение сменило глубокую печаль. Холодно, сосредоточенно, смотрел он на дом. А сердце его уже рвалось в родной, грязный райцентр. Где ждали его леса, вольный воздух полей, и беспокойное достоинство художника, которое уже никто не отнимет у него.

С твердым намерением жить осмысленно, никогда не киснуть и не прозябать, но нести свой крест достойно, до конца, уходил он прочь. Заметил, что держит в руке шляпу, новенькую шляпу, к поношенному пальто. И размахнувшись, запустил ее в небо.

Моросил, о чем-то шептался с палой листвой весенний дождь.

Приезд на родину

Я встретил Дэна в баре «Катастрофа», где я проводил одинокие вечера, вернувшись на родину.

– Сколько лет, сколько зим! – обрадовался он. – Выглядишь, как иностранец! Извини... Кха! Возьму чего-нибудь. Мне всю ночь работать...

И Дэн направился к стойке. В бушлате, заляпанном известкой, в скуфейке, надвинутой до бровей, и с деревянной стружкой, застрявшей в его длинных до плеч волосах, он был похож на монаха-плотника, забредшего сюда из средних веков. И было трудно узнать в этом побитом жизнью человеке ловкого и сильного Данилова десятилетней давности, того Дэна, как мы, пацаны, его называли, – мечтавшем пересечь океан на яхте, достать со дна клад и построить новый город на месте барачной рабочей окраины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.